

Тайное поклонение

Тайное поклонение

Шарлотта Ридделл, Артур Грей, Роджер Патер, Роберт Льюис Стивенсон, Джозеф Шеридан Ле Фаню, Монтегю Родс Джеймс, Брэм Стокер, Уильям Уаймарк Джейкобс, Элджернон Генри Блэквуд

Аннотация
Тайное поклонение
Джозеф Шеридан Ле Фаню. 1814–1873
  Случай с церковным сторожем
  Мертвый причетник
  Сделка сэра Доминика. Легенда Дьюнорана
Роберт Льюис Стивенсон. 1850–1894
  Маркхейм
Шарлотта Ридделл. 1832–1906
  Последний из Эннисморских сквайров
Брэм Стокер. 1847–1912
  Возвращение Абеля Бегенны
Уильям Уаймарк Джейкобс. 1863–1943
  Обезьянья лапка
    I
    II

III
Монтегю Родс Джеймс. 1862–1936
Граф Магнус
Подброшенные руны
Дом при Уитминстерской церкви
Элджернон Блэквуд. 1869–1951
Тайное поклонение
Артур Грей. 1852–1940
Чернокнижник
Роджер Патер. 1874–1936
Наследство астролога

Аннотация

Включенные в сборник произведения английских, ирландских, шотландских, американских писателей XIX–XX веков объединяет тема чёрной магии и дьяволопоклонничества.

Магические ритуалы, оккультные обряды, загадочные происшествия, сделки с дьяволом, предметы выполняющие желания, но забирающие многое взамен, месть с помощью чёрной магии, секта. Местами курьёзные, местами мрачные и пугающие истории от Вашингтона Ирвинга, Джозефа Шеридана ле Фаню, Роберта Льюиса Стивенсона, Шарлотты Ридделл, Брэма Стокера, Уильяма Уаймарк Джейкобса, Монтегю Родса Джеймса, Элджернона Блэквуда, Артура Грея и Роджера Патера.

Тайное поклонение

© Антонов С., составление, перевод на русский язык, 2024
© Брилова Л., перевод на русский язык, 2024
© Бобович А., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Токарева Е.О., перевод на русский язык, 2024
© Волжина Н., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Озерская Т., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Полищук В., перевод на русский язык, 2024
© Харитонов В., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Ибрагимов А.Ш., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Джозеф Шеридан Ле Фаню
1814–1873



Случай с церковным сторожем

Те, кто знал Чейплизод четверть века — или больше — тому назад, вспомнят, возможно, тогдашнего церковного сторожа. Боб Мартин наводил благоговейный ужас на юных разгильдяев, которые по воскресеньям забредали на кладбище, читали надписи или играли в чехарду на надгробиях, взбирались по плющу в поисках летучих мышей и воробьиных гнезд или заглядывали в таинственное отверстие под восточным окном, где виднелась туманная перспектива ступеней, которая терялась внизу в еще более густой темноте; там, среди пыли, рваного бархата и костей, которыми усеяли склеп время и бренность, жутко зияли отверстые гробы. Боб, разумеется, был грозой таких безумно любопытных или озорных юнцов. Но хотя должность Боба Мартина внушала трепет, как и его сухопарая, облаченная в порыжелое черное одеяние фигура, все же, глядя на его сморщенное личико, подозрительные серые глазки, каштановый, с оттенком ржавчины парик-накладку, каждый заподозрил бы в нем любителя веселого времяпрепровождения; и верно, моральные устои Боба Мартина не

всегда оставались неколебимы — ему случалось откликаться на зов Бахуса.

Ум у Боба был пытливый, память же хранила немало веселых, а также страшных историй. По роду службы ему были близки могилы и гоблины, а по склонности души — свадьбы, пирушки и всяческие забавные проделки. А поскольку самые ранние его воспоминания относились к событиям почти шестидесятилетней давности, у него скопился обильный запас достоверных и поучительных рассказов из местной деревенской жизни.

Доходы, приносимые службой при церкви, были далеко не достаточны, и Бобу Мартину, дабы удовлетворить свои особые потребности, приходилось обращаться к приемам, мягко говоря, не вполне подобающим.

Нередко, когда его забывали позвать в гости, он приглашал себя сам; Боб Мартин случайно присоединялся в трактире к знакомым ему небольшим теплым компаниям, развлекал собравшихся странными и ужасными историями из неисчерпаемого хранилища своей памяти и никогда не отвергал благодарности, которая выражалась в стаканчике горячего пунша с виски или другого напитка, имевшегося на столе.

В ту пору пивной напротив старой заставы владел некий Филип Слейни, человек по натуре меланхолический. Сам по себе он не был склонен к неумеренным возлияниям, но, постоянно нуждаясь в компаньоне, который разгонял бы его мрачные мысли, на удивление привязался к церковному сторожу. Без общества Боба Мартина ему уже трудно было обходиться; под влиянием озорных шуток и удивительных историй своего приятеля трактирщик забывал, казалось, о своем угрюмом настроении.

Эта дружба не добавила собутыльникам ни богатства, ни доброй славы. Боб Мартин поглощал намного больше пунша, чем полезно для здоровья и совместимо со званием служителя церкви. Филип Слейни также стал позволять себе излишества, ибо трудно было не поддаться добродушным уговорам приятеля; и поскольку Слейни приходилось платить за двоих, кошелек его страдал еще больше, чем голова и печень.

Как бы то ни было, повсеместно считалось, что Боб Мартин споил Черного Фила Слейни (под этим прозвищем был известен трактирщик), а Фил в свою очередь окончательно сбил с пути Боба. При таких обстоятельствах в заведении напротив заставы счета несколько запутались,

и одним отнюдь не прекрасным летним утром, когда, несмотря на жару, небо было обложено тучами, случилось следующее: Фил Слейни вошел в маленькую заднюю комнату, где хранил свои бухгалтерские книги (и где грязное окно смотрело прямо в глухую стену), запер на засов дверь, взял заряженный пистолет, сунул дуло в рот и снес себе верхушку черепа, забрызгав при этом потолок.

Это страшное несчастье глубоко потрясло Боба Мартина; отчасти из-за этого, а отчасти по той причине, что ему грозила отставка, после того как его несколько раз обнаруживали на большой дороге в отсутствующем — почти что бесчувственном — состоянии, а возможно (говорили некоторые), и оттого, что некому стало его угощать после смерти бедняги Фила Слейни, но Боб Мартин на время отказался от всех крепких напитков и сделался образцом умеренности и трезвости.

К великой радости жены Боба Мартина и в назидание соседям, ее супруг следовал своему разумному решению достаточно твердо. Он редко прикладывался к бутылке, никогда не напивался допьяна, и лучшая часть общества приняла его в свои объятия как блудного сына.

Приблизительно через год после упомянутого жуткого происшествия помощник городского священника получил по почте уведомление о предстоящих похоронах; в письме содержались некоторые указания по поводу того, где именно на чейплизодском кладбище нужно выбрать место для могилы. Помощник священника послал за Бобом Мартином, дабы сообщить ему то, что относилось к его служебным обязанностям.

Осенняя ночь была мрачна; грозовые облака, медленно поднявшись из-за горизонта, сошлись на небе в зловещий, чреватый бурей навес. В неподвижном воздухе далеко разносились раскаты отдаленного грома; под гнетом предгрозовой атмосферы вся природа, казалось, притихла и съежилась.

Когда Боб, облачившись в потрепанный черный сюртук, который носил на службе, был готов отправиться к начальству, шел уже десятый час.

— Бобби, дорогой, — проговорила жена, прежде чем отдать ему его шляпу, — ты ведь не станешь, Бобби, дорогой… не станешь… сам знаешь что.

– *Ничего* я не знаю, — бросил он, делая попытку схватить шляпу.

— Ты не станешь закладывать за воротник, Бобби, ведь правда? — продолжала жена, не от-

давая шляпы.

— С чего бы это, женщина? Ну, дашь ты мне шляпу или нет?

— Ты обещаешь мне, Бобби, дорогой… ведь обещаешь?

— Ну да, конечно… с чего бы?.. Ну, отдавай шляпу, и я пошел.

— Но ты же не пообещал, Бобби, голубчик; ты так и не пообещал мне.

— Ладно, дьявол меня забери, если до возвращения я выпью хоть глоток, — в сердцах отозвался церковный сторож. — Этого тебе довольно? *Теперь* ты отдашь мне шляпу?

— Вот она, дорогой; Господь да хранит тебя в пути.

Произнеся это прощальное благословение и проводив мужа глазами, миссис Мартин закрыла дверь, потому что было уже совсем темно, и в ожидании его прихода снова села вязать; после разговора с мужем на сердце у нее полегчало: ведь она опасалась, что для человека, вступившего на стезю трезвости, он в последнее время стал слишком часто выпивать, и полдюжины «пивнушек», мимо которых ему придется идти в другой конец города, окажутся чересчур сильным соблазном.

Пивные были еще открыты и, пока Боб тоскливо следовал мимо, испускали восхитительные пары виски, но Боб засовывал руки в карманы, отворачивался и, исполнясь решимости, принимался насвистывать, а в голове у него, вместе с образом помощника священника, витали думы о будущем вознаграждении. Он уверенно провел корабль своей добродетели мимо рифов соблазна и благополучно достиг дома, где жил помощник священника.

Того, однако, дома не оказалось, так как его неожиданно вызвали к больному, и Бобу Мартину пришлось дожидаться его возвращения в холле, барабаня пальцами от скуки. Отлучка хозяина, к несчастью, затянулась; когда Боб Мартин отправился домой, уже, вероятно, пробило полночь. К этому времени грозовые облака еще более сгустились, темень стояла непроглядная, в скалах и лощинах Дублинских гор прокатывался гром, бледно-голубые вспышки молний выхватывали из мрака фасады домов.

Двери уже всюду были закрыты, но Боб, тащась домой, невольно отыскал глазами пивную, принадлежавшую раньше Филу Слейни. Слабый свет просачивался через щели ставен и окошко над дверью, так что фасад был окружен неярким

ореолом.

Боб успел уже привыкнуть к темноте, и этого свечения ему хватило, чтобы разглядеть человека в просторном сюртуке для верховой езды, сидевшего на скамье, которая стояла тогда под окном. Незнакомец, глаза которого были скрыты низко надвинутой шляпой, курил длинную трубку. Рядом с ним неясно виднелись очертания стакана и бутылки объемом в кварту; большая лошадь под седлом, слабо различимая во тьме, терпеливо дожидалась хозяина.

Без сомнения, странное зрелище представлял собой путешественник, которому вздумалось в такой час под открытым небом подкрепиться стаканчиком, однако церковный сторож легко объяснил происходящее тем, что после закрытия пивной на ночь посетитель прихватил остатки угощения, дабы завершить пиршество здесь, на открытом воздухе.

В иные времена Боб, проходя мимо, приветствовал бы незнакомца дружелюбным «доброй вам ночи», но нынче он был не в духе, к общению не расположен и собирался молча проследовать дальше, однако незнакомец, не вынимая изо рта трубки, поднял бутылку и без церемоний поманил ею Боба; наклонив голову и плечи и

одновременно перемещаясь на конец сиденья, он без слов пригласил Боба разделить с ним скамью и пиршество. В воздухе витал дивный аромат виски, и Боб было дрогнул, но, начав колебаться, тут же вспомнил свое обещание и сказал:

— Нет, благодарствую, сэр, мне сегодня нельзя задерживаться.

Незнакомец стал делать ему неистовые знаки и кивать на пустой конец скамьи.

— Благодарю за любезное приглашение, — сказал Боб, — но я припозднился и должен спешить, поэтому желаю вам доброй ночи.

Путешественник звякнул стаканом о горлышко бутылки, намекая, что задерживаться необязательно — можно сделать глоток и на ходу. Боб в душе разделял его мнение, но клятвы своей не забывал; он сглотнул слюну, твердо и решительно покачал головой и продолжил путь.

Незнакомец, с трубкой во рту, поднялся со скамьи и, сжимая в одной руке бутылку, а в другой стакан, двинулся по пятам за церковным сторожем; окутанная мраком лошадь последовала за хозяином.

В такой назойливости было что-то подозрительное и загадочное.

Боб ускорил шаги, но незнакомец не отставал.

Церковный сторож почуял неладное и обернулся. За спиной он обнаружил своего преследователя, который все так же нетерпеливыми жестами предлагал ему попробовать содержимое бутылки.

— Я вам уже сказал, — произнес Боб, одновременно разозленный и испуганный, — не стану пробовать, и все тут. Не хочу я иметь дела ни с вами, ни с вашей бутылкой; и ради бога, — добавил он громче, заметив, что незнакомец приближается, — отойдите и оставьте меня в покое.

Эти слова, по-видимому, рассердили незнакомца — он с яростью затряс бутылкой, но, несмотря на этот угрожающий жест, все же отстал. Однако Боб видел, что незнакомец следует за ним в отдалении, потому что удивительное красное сияние, исходившее от трубки, окружало тусклым светом всю его фигуру, которая уподоблялась таким образом огненному метеору.

— Пусть бы дьявол забрал себе свое добро, — пробормотал Боб в сердцах. — Знаю я, где бы ты тогда был, парень.

Когда Боб во второй раз обернулся, он с испугом обнаружил, что наглый незнакомец подобрался к нему еще ближе, чем вначале.

— Будьте вы прокляты! — вскричал мастер ло-

пат и черепов вне себя от ярости и страха. — Чего вам от меня нужно?!

Незнакомец, казалось, воспрянул духом; кивая головой и протягивая стакан и бутылку, он все больше приближался, и Бобу Мартину стало слышно, как фыркает лошадь, которая следовала в темноте за хозяином.

— Не знаю, что там у вас, но приберегите это для себя; с вами водиться — только беду накликать, — холодея от испуга, крикнул Боб Мартин, — отвяжитесь, оставьте меня в покое.

Безуспешно рылся он в бурлящей путанице своих мыслей, пытаясь вспомнить какую-нибудь молитву или заклинание. Он ускорил шаги почти до бега и вскоре достиг своего дома, который стоял у реки, под нависшим берегом.

— Впусти меня, бога ради, впусти, Молли, открой, — завопил Боб, добежав до порога и прислонившись спиной к двери.

Преследователь остановился прямо напротив, на дороге; трубки у него во рту уже не было, но густо-красное сияние не исчезло. Издавая нечленораздельные глухие звуки, какие-то звериные, не поддающиеся описанию, он, как показалось Бобу, наклонил бутылку и стал наполнять стакан.

Церковный сторож принялся с отчаянными

воплями изо всех сил лягать дверь.

— Во имя всемогущего Господа, отвяжитесь от меня наконец.

Разъяренный преследователь плеснул содержимое бутылки в сторону Боба Мартина, но вместо жидкости из горлышка вырвалась струя пламени, которая растеклась и завертелась вокруг них; на миг их обоих окутало неяркое свечение, но тут налетевший порыв ветра сорвал с незнакомца шляпу, и церковный сторож увидел, что под ней ничего нет. Вместо верхней части черепа Боб Мартин созерцал зияющую дыру, неровную и черную; через мгновение испуганная жена отворила дверь, и Боб без чувств свалился на пол собственного дома.

Едва ли эта правдивая и вполне понятная история нуждается в толковании. Всеми единодушно признано, что путешественник был не кем иным, как призраком самоубийцы, который, по наущению врага рода человеческого, подстрекал гуляку-сторожа нарушить его подкрепленный нечестивыми словами обет. Если бы призраку это удалось, то, без сомнения, темный конь, который, как заметил Боб Мартин, ждал, оседланный, неподалеку, унес бы в то место, откуда явился, двойную ношу.

Об истинности происшедшего свидетельствовало колючее деревце, росшее у двери: утром увидели, что оно опалено вырвавшимся из бутылки адским пламенем, словно ударом молнии.

1851

Мертвый причетник

Закаты в ту пору были красны, ночи долги, в воздухе стоял приятный морозец. Близилось Рождество — радостный провозвестник Нового года. В ту ночь в прелестном городке Голден-Фрайерс, в известном по всем графствам древней Нортумбрии кабачке «Святой Георгий и Дракон», случилась трагедия, о которой до сих пор вспоминают старики зимними вечерами у каминов — золотистая дымка минувших лет придает былым ужасам восхитительный аромат.

В старом каретном сарае, во дворе кабачка, покоилось тело Тоби Крука, церковного причетника. Его нашли мертвым за полчаса до начала нашей истории, при весьма странных обстоятельствах, в месте, где оно могло бы еще добрую неделю лежать незамеченным. Страшное подозрение закралось в безмятежные души обитателей Голден-Фрайерса.

Лучи зимнего заката пробивались сквозь ущелья величественных гор на западе, окутывая пламенем голые ветви облетевших вязов и крохотные серпики зеленой травы на обширных лугах, окружавших старинный городок.

Нет на свете места чудеснее тихого Голден-Фрайерса: остроконечные крыши со стройными каминными трубами, невесомые, как дуновение ветерка, венчают аккуратные домики из светло-серого камня, выстроившиеся ровной чередой вокруг живописного озера. На противоположном берегу озера грандиозным амфитеатром встает высокая горная гряда, чьи заснеженные пики, подсвеченные красноватым сиянием заходящего солнца, смутно вырисовываются на белесом фоне зимнего неба. Если окажетесь в тех краях, непременно взгляните на Голден-Фрайерс с самой кромки тихого озера: вы поневоле залюбуетесь островерхими каминными трубами, стройными коньками крыш, забавным старым кабачком с причудливой вывеской, изящной башенкой старинной церкви с высоким шпилем, венчающей чудесную картину. Тому, кто увидит городок в час заката или в сиянии луны, среди чарующих красот природы, откроется чудесная тайна: он решит, что попал в волшебную страну эльфов и фей.

Накануне вечером Тоби Крук, причетник здешней церкви, долговязый тощий субъект лет за пятьдесят, посидел часок-другой с деревенскими приятелями за добрым кувшином горячего пива

в уютной кухне постоялого двора. Обычно он заглядывал туда часов в семь послушать сплетни. Этого ему вполне хватало: говорил он мало и глядел всегда угрюмо.

Теперь-то про него многое рассказывают.

В юности Тоби слыл отпетым лентяем. Он разругался с хозяином, дубильщиком кож из Браймера, у которого служил в подмастерьях, и ушел куда глаза глядят; сотню раз попадал в переделки и выходил сухим из воды. Перемыв ему все косточки, обитатели Голден-Фрайерса пришли к выводу, что для всех, кроме, возможно, его самого, а в особенности для убитой горем матери было бы лучшим выходом, если бы он с тяжелым камнем на шее покоился на дне тихого озера, в котором отражаются серые крыши, раскидистые вязы и высокие окрестные горы. В разгар этих пересудов Тоби Крук внезапно вернулся. Обитатели городка едва узнали его: это был другой человек, зрелый мужчина сорока лет.

Пропадал он двадцать лет, и никто не знал, где его носило.

И вдруг он ни с того ни с сего объявился в Голден-Фрайерсе — угрюмый, молчаливый и благонравный. Мать его давно лежала в могиле, но поселяне приняли «блудного сына» с открытой

душой.

Добросердечный викарий, доктор Дженнер, говорил жене:

— Долли, дорогая, его каменное сердце смягчилось. Я видел, как на вчерашней проповеди он вытирал глаза.

— Не удивляюсь, милый мой Хью. Я помню то место: «Есть радость на небесах». До чего прелестно! Я сама чуть не заплакала.

Викарий добродушно рассмеялся, поцеловал жену и нежно похлопал по щеке.

— Ты слишком высоко ставишь проповеди своего мужа, — заметил он. — Понимаешь ли, Долли, я читаю их прежде всего для бедняков. Если уж они поймут меня, то другие — и подавно. Надеюсь, мой простой стиль находит путь и к сердцу их, и к разуму…

— Почему же ты раньше не сказал мне, что он плакал. Ты так красноречив! — воскликнула Долли Дженнер. — Никто не умеет читать проповеди лучше моего мужа. В жизни не слышала ничего подобного.

Охотно верим, ибо за последние двадцать лет почтенная дама вряд ли слыхала более шести проповедей из уст других священников.

Обитатели Голден-Фрайерса горячо обсуждали

возвращение Тоби Крука.

Доктор Линкоут заметил:

— Должно быть, немало ему довелось хлебнуть. Высох, как вобла, а мускулы крепкие. Служил, поди, в солдатах — выправка у него военная, а отметина над правым глазом — ни дать ни взять шрам от ружейного выстрела.

Другой бы спросил, как человек мог выжить после огнестрельной раны над глазом. Но Линкоут был врачом, и не простым, а военным — в молодости; кто в Голден-Фрайерсе мог тягаться с ним в делах хирургических? Жители городка сошлись во мнении, что та метка и впрямь была оставлена пистолетной пулей.

Мистер Джалкот, адвокат, «головой ручался», что Тоби Крук в долгих странствиях набрался ума, а честный Тэрнбелл, владелец «Святого Георгия и Дракона», задумчиво произнес:

— Надо подыскать Тоби работенку, чтоб было куда руки приложить. Пора делать из него человека.

В конце концов его назначили причетником церкви Голден-Фрайерса.

Тоби Крук исполнял свои обязанности на редкость добросовестно. Не вмешивался ни в чьи дела: человек он был молчаливый, и друзей у него

не водилось. В компании держался особняком, любил прогуливаться в одиночку по берегу озера, пока другие играли в «пятерку» или в кегли, иногда заглядывал в «Святой Георгий» и, потягивая спиртное, с угрюмым видом прислушивался к общему разговору. Было в лице Тоби Крука что-то недоброе, а если к тому же у него не все ладилось, то он казался просто злодеем.

О Тоби Круке шепотом рассказывали немало историй. Никто не знал, как эти сплетни попали в город. Нет ничего более загадочного, чем пути распространения слухов. Словно разлили флакон с ароматическим бальзамом. Слухи разлетаются, подобно эпидемии, то ли от малейшего дуновения ветерка, то ли подчиняясь столь же непостижимым космическим законам. Рассказы эти, весьма расплывчатые, относились к долгому периоду отсутствия Тоби Крука в родном городке, однако так и не приняли мало-мальски определенной формы; никто не мог сказать, откуда они пошли.

В добром сердце викария не было места дурным мыслям. Если до него доходили рассказы о гнусном прошлом Тоби Крука, он не принимал их на веру, требуя доказательств. Таким образом, причетник нес свою службу без всяких помех.

В тот злосчастный вечер — подробности всегда вспоминаются после катастрофы — мальчишка, возвращавшийся вдоль кромки озера, встретил причетника. Тот присел на поваленном дереве под скалой и считал деньги. Сидел он скорчившись, подтянув колени к подбородку, и торопливо пересыпал серебряные монеты с ладони на ладонь. Длинные пальцы так и мелькали. Он взглянул на мальчика, как гласит старая английская пословица, «как дьявол на город Линкольн». Но хмурые взгляды не были чем-то необычным для мистера Крука; у него никогда не находилось ни улыбки для ребенка, ни доброго слова для усталого путника.

Тоби Крук жил в сером каменном доме возле церковного крыльца, тесном и холодном. Лестничное окно смотрело на кладбище, где проходила большая часть рабочего дня причетника. Тоби занимал лишь одну комнату, в остальном же дом был необитаем.

Старуха, следившая за домом, спала на деревянной скамье в крохотной каморке у черного хода, выстланной черепицей, среди сломанных табуреток, старых саквояжей, трухлявых сундуков и прочего хлама.

Поздно ночью она проснулась и увидела у себя

в комнате человека в шляпе. В руке он держал свечу и заслонял рукавом ее пламя, чтобы свет не падал в глаза спящей. Незнакомец стоял спиной к кровати и рылся в ящике, где старуха обычно хранила деньги.

Однако в тот день старуха получила жалованье за три месяца, два фунта стерлингов, и спрятала их, завернув в тряпицу, в самом дальнем уголке буфета, в старой чайнице.

При виде незнакомца старуха до смерти перепугалась: а вдруг незваный гость явился с близлежащего кладбища? Она села на постели, прямая как палка, седые волосы встали дыбом так, что чепец приподнялся, и, справившись с мурашками по спине, дрожащим голосом спросила:

— Что вам тут надо, Христа ради?

— Где твоя мятная настойка, женщина? У меня внутри огнем горит.

— Уж месяц как вышла, — отвечала старуха. — А ежели вы к себе уйдете, я вам горяченького чайку приготовлю.

Но гость ответил:

— Не стоит, хлебну лучше джина.

И, повернувшись на каблуках, вышел.

Наутро причетник исчез.

Начались расспросы.

Его не только не было дома; Тоби Крука не могли найти по всему Голден-Фрайерсу.

Может быть, рано утром он ушел по своим делам куда-нибудь в дальнюю деревню. У причетника не было близкой родни, и никто не стал ломать себе голову над его исчезновением. Люди предпочитали подождать: рано или поздно вернется, никуда не денется.

Часа в три пополудни добрый викарий, стоя на пороге своего дома, любовался крутыми горными пиками, окружавшими живописное озеро, как вдруг заметил, что к берегу причалила лодка. Двое мужчин вышли на берег и направились прямиком через зеленый луг. Они несли какой-то предмет, небольшой, но, судя по всему, довольно увесистый.

— Взгляните-ка, сэр, — сказал один из них, опустив к ногам викария малый церковный колокол, из тех, что в старинных перезвонах дают дискантовый тон.

— Пуда на два потянет, не меньше. Вчера только слыхал, как он на колокольне звонит.

— Как! Один из церковных колоколов? — воскликнул растерявшийся викарий. — О нет! Не может быть! Где вы его взяли?

Лодочник рассказал вот что.

Утром он нашел свою лодку привязанной ярдах в пятидесяти от того места, где оставил ее накануне, и не мог понять, как это произошло. Едва они с помощником собрались сесть за весла, как вдруг обнаружили на дне, под куском парусины, церковный колокол. Там же лежали кирка причетника и его лопата — «лопатень», как называли они этот чудной инструмент с широким штыком.

— Удивительно! Посмотрим, не пропало ли на башне колокола, — в смятении заявил викарий. — Крук еще не вернулся? Знает кто-нибудь, где он?

Причетник не объявился.

— Странно. Ну и досада! — сказал викарий. — Что ж, откроем моим ключом. Положите колокол в передней; разберемся-ка, что все это значит.

Во главе с викарием процессия отправилась в церковь.

Священник открыл замок собственным ключом и вошел в притвор.

На земле лежал полураскрытый саквояж, рядом с ним — кусок веревки. Лодочник отпихнул сумку ногой — внутри что-то звякнуло.

Викарий приоткрыл дверь и заглянул в цер-

ковь. Тусклое сияние вечерней зари, проникавшее через узкие окна, выхватывало из темноты колонны и своды, украшенные старинным резным дубом, выцветшие статуи, печально взиравшие на гаснущее пламя предзакатного неба.

Викарий встряхнул головой и закрыл дверь. Тьма сгущалась. Пригнувшись, он приоткрыл узкую дверцу, за которой начиналась винтовая лестница, ведущая на первый чердак; оттуда на звонницу можно было подняться по грубой стремянке футов двадцати пяти высотой.

В сопровождении лодочников викарий вскарабкался по узкой лестнице на первый чердак.

Там было очень темно: слабые лучи света проникали лишь через узкую бойницу в толстой стене. Снаружи вспыхивали алым пламенем листья плюща, по густым побегам весело скакали воробьи.

— Не будете ли вы добры подняться наверх и пересчитать колокола? — обратился викарий к лодочнику. — Там должно быть…

— Эй! Что это? — воскликнул тот, отскочив от подножия стремянки.

— О Господи! — ахнул его приятель.

— Боже милосердный! — пробормотал викарий.

Он заметил на полу что-то темное и нагнулся, чтобы получше разглядеть, что это такое. Пальцы его коснулись холодного лица покойника.

Они подтащили труп к полосе дневного света на полу.

Это был мертвый Тоби Крук! Лоб его от виска до виска пересекала глубокая рана.

Объявили тревогу.

На место происшествия тотчас примчались доктор Линкоут, мистер Джалкот и Тэрнбелл, владелец «Святого Георгия и Дракона». Вслед за ними подоспела целая толпа перепуганных зевак.

Было установлено, во-первых, что причетник умер много часов назад. Во-вторых, череп его проломлен страшным ударом. В-третьих, у него сломана шея.

Шляпа его валялась на полу, где он, по-видимому, ее и бросил, в ней лежал носовой платок.

Тайна начала проясняться, когда в углу нашли откатившийся туда колокол, снятый с колокольни. На ободе его запеклась кровь с волосами, что в точности отвечало проломленной ране на лбу причетника.

Осмотрели саквояж, найденный в притворе. Там оказалась вся церковная утварь, серебряный поднос, пропавший месяц назад из кладовой

доктора Линкоута, золотой пенал викария, который он считал позабытым в приходской книге, а также серебряные ложки и прочая посуда, исчезавшие время от времени из самых разных домов, вследствие чего добропорядочное городское общество начало в последние годы заметно волноваться. Из звонницы были сняты два колокола. Сопоставив факты, самые проницательные из собравшихся проникли в нечестивые замыслы угрюмого причетника, чей искалеченный труп лежал на полу в той самой башне, где всего два дня назад он раскачивал священный колокол, призывая добрых христиан Голден-Фрайерса на молитву.

Тело перенесли во двор «Святого Георгия и Дракона» и положили в каретном сарае.

Горожане то и дело небольшими кучками заходили взглянуть на труп, с мрачным видом толпились вокруг сарая и разговаривали вполголоса, как в церкви.

Почтенный викарий в гетрах и широкополой шляпе с загнутыми полями стоял посреди мощеного двора в центре небольшого кружка местной элиты, состоявшей из доктора, адвоката, сэра Джеффри Мардайкса, случившегося в городе, и трактирщика Тэрнбелла. Они только что

закончили осмотр тела, вокруг которого, почтительным шепотом высказывая самые ужасные предположения, толпами слонялись деревенские зеваки.

— Ну, что скажешь? — с дрожью в голосе спросил побледневший Том Скейлз, конюх из «Святого Георгия», прохаживаясь вокруг каретного сарая с Диком Линклином.

— Дьявол своего добился, — шепнул Дик на ухо приятелю. — Свернул причетнику шею, как он сам когда-то свернул парню из Скарсдейлской тюрьмы. Помнишь, солдат заезжий рассказывал в «Святом Георгии»? Ей-богу, никогда тот случай не забуду.

— Сдается мне, все это чистая правда, — ответил конюх. — И про то, как он спящему приятелю кочергой поперек лба заехал, тоже не врут. Взгляни, как ему колокол мозги раскрошил, точь-в-точь как он тому парню. Диву даюсь, почему дьявол среди ночи его тело не уволок, как труп Тэма Ландера с Мултернской мельницы.

— Ну, ты скажешь! Да кто дьявола в церкви видал?

— Да, видок у него такой, что самого сатану напугает. Но ты, пожалуй, прав. Вельзевул свое рыло в церковь и на кончик ногтя не сунет.

Пока конюх с приятелем обсуждали случившееся, сливки общества, собравшиеся посреди двора, отправили извещение коронеру в близлежащий городок Гекстэн.

К этому часу на потемневшем небе угасли последние лучи заходящего солнца; следовательно, до утра о дознании не могло быть и речи.

Чудовищные обстоятельства смерти не вызывали сомнений: причетник хотел обчистить церковь, собрал в саквояж всю серебряную утварь и лишился жизни, вынося со звонницы второй колокол: спускаясь по полусгнившей стремянке, он спиной вперед рухнул на пол и при падении сломал шею. Тяжелый колокол свалился прямо на него и острым ободом разрубил несчастному лоб.

Вряд ли найдется человек, который за одно мгновение был бы убит дважды.

Колокола и содержимое саквояжа причетник, видимо, собирался ночью переправить через озеро и закопать теми самыми киркой и лопатой в Клустедском лесу, а через пару часов незаметно вернуться в город — задолго до утра, пока никто его не хватился. Убегая с добычей, он наверняка намеревался произвести в церкви разгром, чтобы люди подумали, будто туда вломились

грабители. Отвел бы подозрения от себя, а потом, дождавшись удобного случая, выкопал зарытое сокровище и — поминай как звали.

Тут-то и всплыли самые разнообразные сплетни, что ранее нашептывались у Тоби за спиной. Старая миссис Пуллен вспомнила, что, впервые увидев тощего причетника, упала в обморок и заявила доктору Линкоуту, что «этот прохвост» как две капли воды похож на разбойника, пристрелившего кучера в ту ночь, когда ее карету ограбили на дороге в Ханслоу-Хит. Отставной солдат с деревянной ногой тоже припомнил немало случаев, половину из которых до сих пор никто не принимал всерьез.

Теперь же общественное мнение ухватилось за них, как утопающий за соломинку.

На западе угас последний отблеск зари, сумерки сменились ночной мглой.

Публика, собравшаяся в гостиничном дворе, начала понемногу расходиться.

Наступила тишина.

Мертвого причетника оставили в темном каретном сарае, ключ от которого покоился в кармане Тома Скейлза, верного конюха из «Святого Георгия».

Часов около восьми старый конюх, покуривая

трубку, стоял в одиночестве возле раскрытых дверей «Святого Георгия и Дракона».

В морозном небе светила яркая луна. На дальнем берегу озера, словно призраки, вставали сумрачные горы. В воздухе не слышалось ни дуновения ветерка. Не шелестела ни одна веточка в безлистых кронах облетевших вязов. Ни малейшая рябь не нарушала темно-синей глади озера, мерцающей, как полированная сталь, отраженным сиянием луны. Ослепительно белела дорога, что вела от порога харчевни вдоль берега озера.

Среди темной листвы падуба и можжевельника белые колонны ворот викария маячили возле обочины, точно привидения. Венчающие их каменные шары глядели, словно головы, на случайного прохожего чуть левее харчевни, в сотне ярдов вверх по берегу озера.

На улицах не было ни души: обитатели тихого городка Голден-Фрайерс ложились рано. Никто не отваживался выходить за порог, кроме завсегдатаев, собравшихся в обеденном зале таверны.

Том Скейлз подумывал, не пойти ли обратно в кабачок. Ему было не по себе. В голову лезли мысли о мертвом причетнике: застывшее лицо так и стояло перед глазами.

В эту минуту до ушей конюха донесся далекий

стук копыт по промерзшей дороге. «Еще один гость в нашу таверну», — инстинктивно подумал Том. Опытное ухо распознало, что всадник приближается по дороге из Дардейла, той самой, что, миновав широкое унылое торфяное болото, огибает южные отроги гор по ущелью Даннер-Клюк и, соединившись с Мардайкской дорогой, вступает в Голден-Фрайерс у берега озера, неподалеку от ворот викария.

В том месте возле поворота растет куртинка высоких деревьев; но луна светила над озером, и черные тени падали в сторону, не затемняя дорогу.

Топот копыт перешел в дробный перестук — невидимый всадник пустил лошадь галопом.

Том подивился, как далеко разносится в морозном воздухе стук копыт.

Догадка его оказалась верной. Незнакомец приближался по горной дороге со стороны Дардейлского болота. Всадник, похожий на тень, окутанную дымкой лунного света, мчался галопом по ровной полоске дороги, огибающей берег озера, между воротами викария и «Святым Георгием». Видимо, он завернул за угол дома викария в тот миг, когда Том Скейлз, устав, на мгновение отвел глаза.

Конюху недолго довелось гадать, почему незнакомец пустил животное в столь яростный галоп и как получилось, что он услышал топот копыт по меньшей мере мили за три. Мгновение спустя лошадь остановилась у дверей таверны. Это был могучий вороной жеребец из породы ирландских гунтеров, какие встречались в этих местах столетие назад. Такая скотина могла нести всадника весом в шестнадцать стоунов из конца в конец страны. Добрый боевой конь. Волосок к волоску. Он фыркал, бил копытом, выгибал шею, не в силах спокойно стоять на месте — так не терпелось ему поскорее тронуться в путь.

Легко, как пушинка, всадник соскочил наземь. Был он высок, жилист. На плечах у него развевалась короткая мантия, голову венчала лихо заломленная треуголка, на ногах красовались высокие ботфорты, какие можно было увидеть в самых глухих уголках Англии вплоть до конца прошлого века.

— Держи поводья, — бросил он старому Скейлзу. — Нет нужды прогуливать или обтирать его — этот конь никогда не потеет и не устает. Задай ему овса и оставь в покое, пусть как следует наестся. Эй, в доме! — крикнул незнакомец: это старомодное приветствие до сих пор бытует в

деревенской глубинке. Голос у него был зычный, низкий.

Том Скейлз повел коня в стойло. Тот оглянулся на хозяина и призывно заржал.

— Спокойней, старина, спешить некуда! — с грубым смехом крикнул незнакомец своему коню и зашагал в дом.

Конюх отвел жеребца в гостиничный двор. Проходя мимо ворот каретного сарая, за которыми покоился мертвый причетник, конь фыркнул, ударил копытом и пригнул голову, словно прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри, а затем снова издал короткое пронзительное ржание.

У конюха мороз пробежал по коже. Какое дело этой зверюге до лежащего в сарае мертвеца? Странная скотина нравилась ему все меньше и меньше.

Тем временем хозяин коня подошел к дверям таверны.

— Загляну-ка в обеденный зал, — пугающим басом заявил он буфетчику, встретившемуся в коридоре.

Он уверенно направился дальше, словно знал это заведение всю жизнь. Шагал он не спеша, с ленцой, однако мигом обогнал опешившего слугу

и очутился в обеденном зале «Святого Георгия» прежде, чем буфетчик успел миновать полпути по коридору.

Сухие дрова в камине весело потрескивали, освещая просторную, но уютную залу. Языки пламени отражались в начищенных боках горшков и кастрюль, ярко блестели высокие стопки оловянных тарелок в посудных шкафах. По стенам плясали причудливые тени длинных связок лука и огромных окороков, свисавших с потолка.

И адвокат, и доктор, и даже сэр Джеффри Мардайкс не сочли ниже своего достоинства по столь необычному случаю выкурить трубочку у кухонного очага, в самой гуще сплетен и пересудов, разгоревшихся вокруг страшного события.

Рослый незнакомец вошел без приглашения.

Ему можно было дать лет сорок. Был он сухопар, сложен атлетически, с дочерна загорелым лицом и длинным костистым носом. На вид его можно было принять за испанца. Из-под полей шляпы яростно сверкали черные глаза, глубокий рубец «заячьей губы» делил пополам густую щетку черных усов.

Когда незваный гость появился на пороге, сэр Джеффри Мардайкс с трактирщиком при горячей поддержке доктора и адвоката в четвертый

раз строили догадки о коварных замыслах Тоби Крука.

Незнакомец изобразил на лице подобие улыбки и приподнял шляпу.

— Как называется это место, джентльмены? — спросил он.

— Это город Голден-Фрайерс, — вежливо ответил доктор.

— Трактир «Святой Георгий и Дракон», сэр; Энтони Тэрнбелл, к вашим услугам, — торжественно поклонился хозяин. Оба ответа прозвучали одновременно, словно доктор с трактирщиком хором распевали старинную балладу.

— «Святой Георгий и Дракон», говорите, — повторил всадник, протягивая к очагу длинные руки. — Святой Георгий, он же король Георг, и дракон, то есть дьявол. Роскошный кумир у вас за порогом, сэр, ничего не скажешь. Заманиваете к себе невинных путников: и придворных, и бродяг, всякое лыко в строку, верно? Добро пожаловать каждый, лишь бы пил побольше! Свари-ка нам чашу-другую пунша. Я угощаю. Сколько нас тут? Посчитай и налей сколько нужно. Джентльмены, я намерен заночевать в этом заведении, конь мой стоит в конюшне. По какому поводу собралось столько приятных

лиц? Что у вас — праздник или ярмарка? Сдается мне, я тут уже бывал; в прошлый раз вы глядели куда печальнее. Было это в воскресенье, самый тоскливый из праздников; и если бы не здешний причетник, мистер Крук, святой человек, впору бы совсем загоревать. — Он огляделся и будто невзначай заметил: — Ба! Не он ли это там?

Компания не на шутку перепугалась. Все, разинув рты, уставились в ту сторону, куда кивком указал незнакомец.

— Да нет, не он, откуда ему взяться? — с напускной уверенностью заявил трактирщик Тэрнбелл: ему отнюдь не улыбалось, чтобы по городу пошел слух, будто в «Святом Георгии» завелась нечистая сила. — С ним, сэр, случилось несчастье — он умер. Он уже не с нами и потому быть здесь никак не может.

Компания охотно поведала незнакомцу о случившемся во всех подробностях. Говорили все разом, заглушая друг друга, и никому из рассказчиков не удавалось произнести более двух фраз кряду без того, чтобы его перебили и поправили.

— Стало быть, он на небесах. Это так же верно, как то, что вы сидите здесь, — заявил незнакомец, дослушав рассказ. — Ну и ну! Хотел стащить церковный колокол и поплатился за это. Вот ведь как

бывает! Эй, хозяин, налей выпить. Господь покарал причетника за то, что тот стянул церковный колокол, за который дергал десять лет! Ха-ха-ха!

— Полагаю, сэр, вы прибыли по Дардейлской дороге? — спросил доктор; народ в деревне любопытен. — Унылое это место — Дардейлское болото, верно, сэр? Всем ветрам открытое, особенно когда с другой стороны в горы поднимаешься.

— Мне все здесь нравится! И Дардейлское болото, гнилое и черное, как могила, и эта зазубренная стена, что вы называете дорогой, белая под луной, точно мелом вымазанная, и ущелье Даннер-Клюк, темное, как угольная яма, и эта таверна, и пылающий очаг, и вы, добрые люди, и этот славный пунш, и мертвец в каретном сарае. Где труп, там и стервятники. Эй, хозяин, налей-ка нам нектара. Пейте, джентльмены, все пейте. Заварите еще чашу. До чего божественно воняет алкоголь! Надеюсь, джентльмены, вам нравится пунш: весь пропитан специями, точно мумия. Пейте, друзья. Хозяин, наливай! Пейте! Плачу за всех!

Порывшись в кармане, гость достал три гинеи и сунул их в пухлую ладонь Тэрнбелла.

— Пусть пунш льется рекой. Я старый друг этого дома. Частенько сюда заглядывал. Я тебя, Тэрн-

белл, хорошо знаю, хоть ты меня и не узнаешь.

— У вас передо мной фора, сэр, — произнес Тэрнбелл, вглядываясь в темное зловещее лицо — он готов был поклясться, что в жизни не встречал никого похожего на странного гостя. Но в кармане приятно позвякивали полновесные гинеи. — Надеюсь, сэр, вам тут понравится.

— Есть для меня комната?

— Да, сэр, кедровая спальня.

— Знаю ее, уютная каморка. Нет, мне больше пунша не надо. Позже, может быть.

Беседа шла своим чередом, но странный гость замолчал. Он уселся на дубовую скамью у камина и с наслаждением протянул к огню ноги и руки. Лицо его, однако, по-прежнему скрывалось под треуголкой.

Постепенно компания начала редеть.

Первым ушел сэр Джеффри Мардайкс, за ним потянулись гости попроще. По кругу шла последняя чаша пунша. Незнакомец вышел в коридор и приказал буфетчику:

— Принеси фонарь. Надо проведать коня. Зажги. Нет, не ходи за мной.

Долговязый путешественник взял у слуги фонарь и вышел на конский двор.

Том Скейлз, стоя посреди мощеного двора, раз-

глядывал лошадей в окно конюшни, как вдруг кто-то потянул его за рукав. Вздрогнув, конюх обнаружил, что находится с глазу на глаз с тем самым человеком, о котором только что думал.

— Говорят, там есть на что посмотреть. — Незнакомец указал на каретный сарай. — Пойдем-ка взглянем.

В эту минуту Том Скейлз пребывал в таком смятении чувств, что с легкостью готов был покориться любому, кому не лень будет помыкать им. Он послушно поплелся вслед за гостем в каретный сарай.

— Войди и подержи мне фонарь, — приказал тот. — Заплачу как следует.

Старый конюх отпер висячий замок.

— Чего ты боишься? Войди и посвети ему в лицо, — велел неумолимый гость. — Открой заслонку и встань вон там. Нагнись, он тебя не укусит. Пошевеливайся, не то запру с ним на всю ночь!

Тем временем посетители «Святого Георгия» разошлись по домам.

Вскоре после этого Энтони Тэрнбелл, который, как и подобает хорошему хозяину, последним ложился в постель и первым вставал, окинул прощальным взглядом обеденный зал и хотел

заглянуть напоследок в конский двор, как вдруг в кухню, шатаясь, ввалился бледный как смерть Том Скейлз. Волосы у него стояли дыбом. Он рухнул на дубовую скамью, дрожащей рукой утер пот со лба и, не в силах заговорить, хватал ртом воздух. Добрый глоток бренди вернул ему дар речи.

— У нас в доме сам дьявол! Ей-богу! Нужно послать за батюшкой. Пусть прочтет ему Священное Писание, глядишь, и прогонит нечистого. Господи, помилуй нас! Я, мистер Тэрнбелл, человек грешный. Вот те крест, нынче ночью я с ним под одной крышей не останусь.

— Ты о том черномазом с перебитым носом? У него карман набит гинеями да конь фунтов пятьдесят стоит!

— Конь этот ездоку под стать. Все наши лошадки рядом с ним дрожмя дрожат и потом обливаются. Я их отвел подальше, в конюшню для почтовых, так они мимо него нипочем идти не хотели. Это еще не все. Смотрю я в окно на лошадок, а он подкрался и хвать за плечо. Велел мне открыть каретный сарай и держать ему свечу, пока он мертвеца разглядывать будет. Бог свидетель, я сам видел, как покойник глаза раскрыл и рот разинул, словно сказать что хочет. Меня как

громом поразило. Волосы дыбом встали. Наконец я очнулся и завопил: «Эй! В чем дело?» А этот гад оглянулся на меня, точно дьявол, захохотал так гнусно и выбил фонарь из рук. Пришел я в себя уже во дворе. Луна светила ярко, и труп лежал на столе, где мы его оставили. Он как пнет дверь ногой! «Запри», — говорит. Я так и сделал. Вот ключ, возьмите, сэр. Он мне деньги предлагал, богачом, говорит, сделаю, если труп мне продашь да вытащить поможешь.

— Да ну тебя! На что ему труп? Он же не костоправ, чтобы его резать. Дразнил он тебя, вот и все.

— Нет, труп ему нужен. Нам с вами невдомек, что он с ним сделает. Он его добудет, всеми правдами и неправдами, а добудет. Душу из меня вынет. Он из тех, что пугает добрых людей на Дардейлском болоте; там вся нечисть ночами собирается. Если только он не сам дьявол, спаси нас Господь.

— А где сейчас этот бес? — спросил хозяин, не на шутку встревожившись.

— Поднялся по черной лестнице к себе в комнату. Топал, как лошадь, удивляюсь, как вы не слыхали. Хлопнул дверью так, что весь дом затрясся. Черт его знает, бес он или кто. Позовем-ка

лучше викария, пускай с ним потолкует.

— Ну и ну, парень, вот уж не думал, что тебя так легко напугать, — сказал хозяин, сам побелев, как простыня. — Хорошенькое будет дельце — раззвонить повсюду, что в доме завелась нечисть! Нашему заведению конец настанет. Ты уверен, что запер труп?

— Еще бы, сэр.

— Пошли, Том, оглядим напоследок двор.

Бок о бок, то и дело испуганно озираясь, они молча вышли во двор, большой, четырехугольный, со всех сторон окруженный конюшнями и прочими хозяйственными службами, стены которых на старинный манер укреплялись скрещенными темными балками.

Остановившись в тени, под скатом крыши, они внимательно оглядели двор и прислушались.

Было тихо.

Возле конюшни горел фонарь. Тони Тэрнбелл снял его с крюка и, придерживая Тома Скейлза за плечо, направился к каретному сараю. Пару шагов он тащил Тома за собой, потом остановился и толкнул его еще на шаг. Так, короткими перебежками, точно пехотинцы под огнем, они добрались до двери каретного сарая.

— Видишь, заперт крепко, — шепнул Том, ука-

зывая на замок — тот, хорошо различимый в свете луны, висел на своем месте. — Говорю тебе, пошли лучше обратно.

— А я тебе говорю, пошли туда! — храбро возразил трактирщик. — Чтоб я позволил всяким проходимцам шутки шутить с покойником! — Он указал на дверь сарая. — Утром явится коронер, а у нас никакого трупа — хорошенькое дело! — С этими словами трактирщик передал фонарь Тому и отпер висячий замок. — Зайди-ка, Том, — продолжал он. — Фонарь у тебя, взгляни, все ли так, как было.

— О нет, ради святого Георгия, только не я! — испуганно взмолился Том, отступая на шаг.

— Чего ты боишься? Дай фонарь, все одно я войду.

Трактирщик осторожно приоткрыл дверь и, высоко подняв фонарь, одним глазом заглянул в узкую щель, словно опасался, что в лицо ему вспорхнет неведомая птица. Не произнося ни слова, он опять запер дверь.

— Невредим, как вор на мельнице, — шепнул он товарищу. В тот же миг тишину разорвал грубый хохот, от которого встрепенулись и закудахтали куры на птичьем дворе.

— Вон он! — Том схватил хозяина за руку. — В

окне!

Окно кедровой спальни на втором этаже было открыто, в темноте смутно вырисовывался черный силуэт человека, опиравшегося локтями на подоконник. Он смотрел на них сверху вниз.

— А глаза-то, взгляни! Горят, точно угли! — ахнул Том.

Зрение у трактирщика было похуже, чем у Тома, к тому же от страха у него поджилки дрожали.

— Эй, сэр! — окликнул гостя Тони Тэрнбелл, похолодев: он различил в темноте пылающий взгляд кроваво-красных глаз. — Добрым людям давно пора быть в постели и крепко спать!

— Крепко, как ваш причетник! — язвительно ответил постоялец.

— Пошли отсюда! — шепнул трактирщик конюху, дернув его за рукав.

Они вбежали в дом и заперли дверь.

— Надо было его пристрелить. — Трактирщик со стоном привалился к стене. — Не буду я ложиться, Том. Посиди со мной. Пойдем-ка в оружейную. Ни один подонок не утащит труп у меня со двора, пока я в силах нажать на курок.

Оружейной в «Святом Георгии» служила небольшая комнатка футов двенадцати в длину

и ширину. Окно ее выходило на конный двор, и из него можно было охватить взглядом весь каретный сарай. Через узкое боковое окно была хорошо видна задняя дверь гостиницы, выходившая во двор.

Тони Тэрнбелл выбрал мушкетон — самое грозное оружие в доме — и зарядил его целой горстью пистолетных пуль.

Он накинул длинное пальто, какое надевал обычно по ночам, когда ходил на озеро пострелять диких уток. Том тоже экипировался как следует. Они сели у раскрытого окна, глядя во двор, залитый ярким светом луны.

Трактирщик положил мушкетон на колени. Оба не отрываясь всматривались в самые темные уголки двора. Дверь каретного сарая была заперта, и друзья чувствовали себя более или менее спокойно. Так прошел час, другой.

Часы пробили один раз. Тени немного сместились, однако луна по-прежнему заливала каретный сарай и конюшню, где стояла лошадь незнакомца.

Тэрнбеллу послышались шаги на черной лестнице. Том выглянул в боковое окно на заднюю дверь; от напряжения у него заслезились глаза. Энтони Тэрнбелл, затаив дыхание, прислушался

у двери.

Тревога оказалась ложной.

Тэрнбелл вернулся к окну, выходящему во двор.

— Эй! Гляди-ка!

Из тенистого левого угла двора появилась рослая фигура незваного гостя в коротком плаще и ботфортах. Он распахнул дверь конюшни и вывел могучего черного коня. Провел его через двор к старому каретному сараю и, опустив поводья, оставил стоять у дверей, а сам направился к воротам и распахнул их ударом каблука. Створки задрожали сверху донизу. Незнакомец подошел к коню. При его приближении запертая дверь, за которой лежал мертвый причетник, отворилась сама собой. Он вернулся с трупом в руках, перекинул его через спину лошади и вскочил в седло.

— Огонь! — заорал Том. Раздался ужасающий грохот. В густом плюще вспорхнули тысячи воробьев. Яростно залаял сторожевой пес. В воздухе стоял звон и свист. Мушкетон разорвался на куски до самого приклада. Отдача швырнула трактирщика на пол. Тома Скейлза отбросило к стене оконной ниши, что избавило его от более серьезных повреждений. Всадник с чудовищной ношей выехал из ворот, вдалеке угас его злорад-

ный хохот.

Возможно, читатель слышал эту историю из уст Роджера Тэрнбелла, нынешнего хозяина таверны «Святой Георгий и Дракон», внука того самого Тони, что заправлял в таверне в день кончины Тоби Крука. Он любит рассказывать ее в уютном обеденном зале, том самом, где черт угощал постояльцев горячим пуншем.

Я так и не узнал, кто из обитателей ада завладел трупом негодяя и что он с ним сделал. Прояснить это может бытующая в тех краях легенда о вампире, как две капли воды похожем на причетника Крука.

Страшный взрыв, раздавшийся после того, как Тэрнбелл выстрелил в убегавшего нехристя, в точности согласуется с мнением Эндрю Мортона, изложенным в любопытном трактате «История призраков».

Вот что он пишет: «Предостерегаю опрометчивых храбрецов, утверждающих, что они не боятся нечистой силы, против того, чтобы они пытались бороться с ней обычным оружием, какое человек использует против человека. Они могут нанести себе непоправимый вред. Один такой смельчак выстрелил в привидение, и ружье разорвалось у него в руках на сотню обломков. Другой пытался

проткнуть призрака шпагой — клинок разлетелся на куски и жестоко ранил хозяина в руку. Безумием было бы сражаться таким образом с любым потусторонним существом, будь то ангел или дьявол».

1851

Сделка сэра Доминика
Легенда Дьюнорана

Ранней осенью 1838 года мне пришлось отправиться по делам на юг Ирландии. Погода стояла восхитительная, все окружающее — и пейзаж, и люди — было для меня внове, поэтому я отослал багаж, под присмотром слуги, с почтовой каретой, а сам нанял на почтовой станции крепкую лошадку и, исполненный любознательности, не спеша пустился в двадцатипятимильное верховое путешествие, намереваясь достигнуть места назначения проселочными дорогами. Мой живописный маршрут пролегал по болотам, холмам и равнинам, мимо разрушенных замков и извилистых рек.

Я выехал поздно и, преодолев чуть больше половины пути, решил ненадолго остановиться в первом же подходящем месте, чтобы дать отдых лошади, а также подкрепиться.

К четырем часам дорога, постепенно поднимавшаяся в гору, забралась в узкое ущелье: налево от меня оказался крутой обрыв горной гряды, а направо внезапно черной тенью возник скали-

стый холм.

Внизу, под вереницей гигантских вязов, виднелись соломенные крыши деревушки, меж ветвей поднимались из низких труб тонкие струйки дыма. Слева, на несколько миль вверх по склону вышеупомянутой горной гряды, расстилался парк, где среди трав и папоротников торчали тут и там пятнистые от лишайника, разрушенные ветрами скалы. В парке кучками росли деревья, за деревушкой, к которой я приближался, имелся даже лес, который одевал неровный склон живописной, местами пожелтевшей листвой.

На спуске дорога, слегка извиваясь, следует справа от серой ограды (она сложена из ничем не скрепленных камней и местами окутана плющом) и пересекает неглубокий ручей; когда деревня была уже недалеко, я заметил, что за стволами мелькает длинный фасад старого, разрушенного дома, который стоял среди деревьев, приблизительно на середине косогора.

Одинокий и печальный вид этих развалин вызвал у меня любопытство; я добрался до трактира (крытого соломой убогого домика с изображением св. Колумбкилла на вывеске, с мантиями, митрой и крестом на оконных перемычках), присмотрел, чтобы накормили лошадь, сам поел

яичницы с беконом и, припомнив заросший склон с руинами, решился совершить получасовую прогулку в этот глухой лесной уголок.

Имение, как я выяснил, называлось Дьюноран. По ступенькам рядом с воротами я перебрался через стену и в приятном раздумье побрел по парку к разрушенному дому.

Длинная, поросшая травой дорожка, виляя и поворачивая, привела меня к старым стенам, на которые бросали тень обступившие их деревья.

Вблизи дома дорожка шла по кромке оврага, крутые склоны которого были одеты орешником, карликовым дубом и колючим кустарником; распахнутая парадная дверь безмолвного дома смотрела в сторону этого темного обрыва и леса, громоздившегося на противоположном его краю. Мощные деревья окружали дом, заброшенный двор и конюшни.

Я бродил, осматриваясь, по заросшим крапивой и сорными травами коридорам, из комнаты в комнату, где потолочные перекрытия давно сгнили, а с больших балок, ветхих и потемневших, свешивались усики плюща. Высокие стены, с которых осыпалась штукатурка, были покрыты пятнами плесени, кое-где слышался треск — это ходили ходуном остатки панельной отделки.

Окна (от их переплетов уцелело немногое), также завешенные плющом, пропускали мало света, вокруг высоких труб носились галки, а из темной массы гигантских деревьев на противоположном краю обрыва доносился непрестанный гам грачей.

Прогуливаясь по печальным коридорам и заглядывая в комнаты (но не во все, поскольку это было небезопасно: настил пола прогибался и посередине полностью отсутствовал, а от крыши сохранились только жалкие остатки), я не переставал удивляться, почему же был заброшен прекрасный обширный дом, расположенный в таком живописном окружении. Я представил себе, как стекались сюда в давние времена толпы гостей, какие сценки, напоминающие пиры Редгонтлета, могли разыгрываться здесь в полночные часы.

Широкая лестница была сделана из дуба, удивительно хорошо сохранившегося; я присел на ступеньки и погрузился в туманные раздумья о бренности всего земного.

За исключением хриплых криков грачей, слабо доносившихся издалека, ничто не нарушало глубокой тишины. Прежде я редко испытывал такое одиночество. Воздух был неподвижен, в коридо-

рах не слышалось даже шелеста сухих листьев. Это действовало угнетающе. Высокие деревья вокруг создавали густую тень, отчего здание навевало, помимо печали, некоторую робость.

Охваченный таким настроением, я был неприятно удивлен, когда услышал голос, протяжно и, как мне показалось, глумливо повторявший: «Пища для червей, смерть и тлен; все в руке Божьей!»

Поблизости в очень толстой стене находилось окно, впоследствии застроенное, так что на его месте образовалась глубокая ниша; там, в тени, я разглядел человека с костлявым лицом, сидевшего свесив ноги. Его пронзительные глаза были устремлены на меня, губы насмешливо улыбались; прежде чем я успел оправиться от испуга, незнакомец произнес двустишие:

– Если бы жизнь за деньги покупали,
Богатые бы жили, а бедные умирали.

— В свое время, сэр, это был богатый дом, — продолжил незнакомец, — Дьюноран-Хаус, и владели им Сарзфилды, старинное семейство. Сэр Доминик Сарзфилд был в роду последним. Он лишился жизни здесь, менее чем в шести футах от того места, где вы сидите.

Произнося это, незнакомец спрыгнул на пол.

Передо мной стоял маленький горбун с худым смуглым лицом и указывал тростью на ржавое пятно, видневшееся на стенной штукатурке.

— Видите эту отметину, сэр? — спросил он.

— Да, — подтвердил я, вставая и разглядывая пятно, и приготовился выслушать интересную историю.

— Здесь семь или восемь футов от пола, сэр; нипочем не догадаетесь, что это такое.

— Нет, наверное, — согласился я, — разве что это следы непогоды.

— Если бы так, сэр, — отозвался незнакомец с той же ухмылкой и кивнул, по-прежнему указывая тростью на пятно. — Это брызги крови и мозгов. Они здесь уже век и останутся, пока стоит стена.

— Значит, он был убит?

— Хуже, сэр, — ответил незнакомец.

— Покончил с собой, наверное?

— Еще хуже, сэр, огради нас этот крест от всякого зла! Я старше, чем кажусь; нипочем не догадаетесь, сколько мне лет.

Он замолчал и поднял взгляд на меня, ожидая, по всей видимости, ответа.

— Ну что ж, думаю, около пятидесяти пяти.

Он усмехнулся, взял понюшку табака и произнес:

— Ровно столько, сэр, и еще чуток. На Сретение мне стукнуло семьдесят. А ведь по виду ни за что не скажешь.

— Клянусь, я бы вам столько не дал; мне и теперь не верится. Но все же вы, вероятно, не были свидетелем смерти сэра Доминика Сарзфилда? — сказал я, разглядывая зловещее пятно на стене.

— Нет, сэр, это случилось задолго до моего рождения. Но мой дед давным-давно служил здесь дворецким, и много раз я слышал его рассказы о том, как умер сэр Доминик. С той поры большой дом оставался без хозяина. Но о доме заботились двое слуг, одной из этих двоих была моя тетка; она держала меня при себе, покуда мне не исполнилось девять, — в тот год она взяла расчет и отправилась в Дублин, тогда за домом перестали присматривать, и он начал ветшать. Ветром сорвало крышу, дерево прогнило из-за дождей, и мало-помалу за шесть десятков лет все стало таким, как вы видите. Но мне здесь все равно нравится, потому что я помню прежние времена, и когда случается проходить мимо, я каждый раз сюда заглядываю. Вряд ли я еще долго буду любоваться старыми местами, ведь не за горами

уже и смерть.

— Вы еще молодых переживете, — возразил я. А потом, оставив банальную тему, добавил: — Неудивительно, что вас сюда тянет: красота здесь редкостная, такие великолепные деревья.

— Хотел бы я, чтобы вы увидели этот овраг, когда созревают орехи — слаще их, наверное, нет во всей Ирландии, — вставил мой собеседник, понимавший красоту сугубо практически. — Вы бы набили себе карманы, не сходя с места.

— Прекрасный старый лес, — заметил я, — красивей в Ирландии я не встречал.

— Э, ваша честь, что сейчас, вот раньше тут был лес. Когда мой отец еще пешком под стол ходил, все окрестные горы были покрыты лесами, а самым громадным был лес Мурроа. Больше всего росло дубов; их вырубили, и горы стали гладкими, как дорога. Ничего не осталось, что могло бы сравниться с прежними деревьями. Каким путем ваша честь изволили сюда прибыть — из Лимерика?

— Нет. Из Киллало.

— А, значит, вы проезжали там, где когда-то рос лес Мурроа. Вы побывали под Лиснаваурой — это крутой холм с круглой вершиной, в миле или около того от деревни. Лес Мурроа был оттуда

неподалеку, как раз там сэр Доминик Сарзфилд впервые встретился с дьяволом — Господи упаси нас от всякого зла, — и это был недобрый день для сэра Доминика и для Сарзфилдов.

Меня заинтересовали приключения, сценой которых была столь очаровавшая меня местность. Мой новый знакомец, маленький горбун, не заставил себя долго упрашивать и, когда мы вновь уселись, рассказал вот что:

— Это было прекрасное имение, когда оно досталось по наследству сэру Доминику, и он закатил пир горой, музыкантов собрали чуть ли не со всей округи, привечали всякого, кто бы ни пришел. Хорошее вино лилось рекой, самогона было — хоть купайся, а для мальчишек с девчонками и стариков вроде меня — целое море пива и сидра. Праздник затянулся чуть ли не на месяц, пока не испортилась погода и не раскисла от дождя лужайка, где танцевали джигу, да и ярмарка в Аллибалли-Келлудин была уже на носу, вот и пришлось всем забыть о веселье и подумать о своих свинках.

Всем, но не сэру Доминику — он еще только начал веселиться. Каких только способов избавиться от денег и от имения он не перепробовал: пьянки, кости, бега, карты и все такое прочее.

Совсем немного лет прошло, и имение оказалось в долгах, а сэр Доминик совсем обнищал. Пока можно было, он не показывал виду, а потом продал собак и бóльшую часть лошадей и объявил, что отправляется путешествовать во Францию и еще куда-то, так что он на время пропал и года два или три от него не было ни слуху ни духу. И вот наконец как-то ночью нежданно-негаданно кто-то постучал в окно большой кухни. Шел уже одиннадцатый час, и старый Коннор Хэнлон, дворецкий, мой дед, сидел один-одинешенек у очага и грел себе ноги. Той ночью вдоль горной гряды дул пронзительный холодный ветер, он свистел в кронах деревьев и уныло завывал в трубах. — Рассказчик бросил взгляд на ближайшую видимую с его места дымовую трубу. — Поэтому мой дед вначале не понял, что значит этот стук, встал и глянул в окно — и узнал хозяина.

Дед был рад видеть хозяина живым и здоровым, ведь от него уже долгое время не приходило никаких известий, но все же горько было думать, что имение уже не такое, как прежде, что за домом следят только двое — сам дед и Джагги Броудрик, — да один человек служит на конюшне, и что хозяин вернулся вот так, на своих двоих.

Сэр Доминик пожал Кону руку и говорит:

«Я пришел кое-что тебе сказать. Дика с лошадью я оставил на конюшне — быть может, он мне еще понадобится до утра, а может, и вовсе не понадобится».

С этими словами он вошел в большую кухню, придвинул скамеечку и сел к огню.

«Сядь напротив меня, Коннор, и послушай, что я тебе скажу, а потом будь готов выложить без боязни, что ты об этом думаешь».

Он произнес это, не сводя глаз с огня и грея руки, и вид у него был усталый и измученный.

«А с чего мне бояться, мастер Доминик? — говорит дед. — Вы были мне добрым господином, а до вас батюшка ваш — да покоится он в мире, — и я душу готов прозакладывать за любого Сарзфилда из Дьюнорана, а за вас и подавно, это уж точно».

«Со мной все кончено», — говорит сэр Доминик.

«Господи, не попусти!» — воскликнул дед.

«Молись не молись, — говорит сэр Доминик, — но истрачено уже все до последней гинеи, теперь очередь за домом. Придется его продать, и я пришел сюда сам не знаю зачем, словно привидение, в последний раз взглянуть на старые места и снова удалиться во тьму».

Потом сэр Доминик велел Кону, если тот услы-

шит о его смерти, отдать дубовую шкатулку, что хранится в чулане при спальне, его двоюродному брату, Пату Сарзфилду, живущему в Дублине, а кроме нее — шпагу и пистолеты, которые были с его дедом при Огриме, и еще пару-тройку безделиц вроде этого.

А дальше он и говорит:

«Сказывают, Кон, если взять деньги у дьявола, то наутро они оборачиваются камешками, щепками и ореховой скорлупой. Знать бы, что он не обманет, я готов был бы сегодня заключить с ним сделку».

«Господи, спаси!» — воскликнул дед, вскакивая на ноги и осеняя себя крестом.

«Говорят, вокруг полным-полно вербовщиков, которые набирают солдат для французского короля. Если кто-нибудь из них мне попадется, я не отвечу отказом. Как все меняется! Сколько лет прошло с тех пор, как мы с капитаном Уоллером дрались на дуэли в Ньюкасле?»

«Шесть лет, мастер Доминик; вы тогда с первого выстрела раздробили ему бедро».

«Вот именно, Кон, — говорит сэр Доминик, — а теперь я бы предпочел, чтобы он прострелил мне сердце. У тебя есть виски?»

Дед вынул из буфета виски, хозяин налил

немного в кубок и выпил.

«Пойду присмотрю за лошадью», — сказал он и встал. Натягивая капюшон, он глядел угрюмо, словно задумал что-то дурное.

«Я тотчас сбегаю на конюшню и сам позабочусь о лошади», — говорит мой дед.

«Я не на конюшню собрался, — остановил его сэр Доминик. — Признаюсь, раз уж ты, видно, все равно догадываешься, я намерен пройтись по оленьему парку; жди меня через час, если я вообще вернусь. Но только лучше за мной не ходи, иначе я тебя застрелю, а это будет плохой конец для нашей с тобой дружбы».

Сэр Доминик свернул в этот коридор, отпер ключом боковую дверь в его конце и вышел на улицу, где светила луна и дул холодный ветер; мой дед поглядел, как сэр Доминик с трудом бредет к стене парка, подошел к двери и с тяжелым сердцем закрыл ее.

Дойдя до середины парка, сэр Доминик приостановился и задумался; выходя, он не знал, что делать дальше, а от виски у него хотя и прибавилось храбрости, но в голове не прояснилось.

Он не боялся сейчас ни холодного ветра, ни смерти, его не заботило вообще ничто, кроме позора и падения старинного рода.

И он решился, если по дороге ему не придет в голову ничего лучше, повеситься в лесу Мурроа на дубовом суку, сделав петлю из галстука.

Ночь стояла ясная, лунная, лишь изредка по луне пробегало легкое облачко, а в остальное время было светло почти как днем.

И сэр Доминик направился вниз, прямиком к лесу Мурроа. Каждый шаг, который он делал, казалось, не уступал длиной добрым трем обычным, и, не успев опомниться, он очутился под большими дубами; их корни переплетались, а сучья тянулись над головой, как балки ободранной крыши; под лучами луны они отбрасывали на землю кривые тени, черные, как мой башмак.

К тому времени сэр Доминик малость протрезвел; он замедлил шаг и подумал, не лучше ли будет записаться в армию французского короля и посмотреть, что из этого получится, ведь покончить счеты с жизнью человек волен в любую минуту, а вот воскреснуть будет уже не так просто.

Едва он решил не накладывать на себя руки, как вдруг послышался четкий стук шагов по сухой земле под деревьями, и вскоре перед ним показался нарядный джентльмен, шедший ему навстречу.

Это был красивый молодой человек, вроде самого сэра Доминика, в треуголке, обернутой золотым кружевом (такое нашивают на офицерские мундиры), а одет он был, как одевались тогда французские офицеры.

Джентльмен остановился напротив сэра Доминика, и тот тоже застыл на месте.

Оба приветствовали друг друга, сняв шляпы, и незнакомый джентльмен сказал:

«Я набираю рекрутов, сэр, для моего повелителя, и вы убедитесь, что мои деньги назавтра не обратятся в камешки, щепки и ореховую скорлупу».

И он вытащил большой кошелек, набитый золотом.

С первой минуты сэру Доминику почудилось в молодом джентльмене что-то необычное, а при этих словах волосы у него на голове поднялись дыбом.

«Не пугайтесь, — говорит джентльмен, — золотые вас не обожгут. Если они окажутся настоящими и пойдут впрок, то я хотел бы предложить вам сделку. Сегодня последний день февраля; я буду служить вам семь лет, а когда этот срок пройдет, вы должны будете служить мне; я приду за вами через семь лет, в минуту, когда кончится февраль

и начнется март, и первого марта — не раньше и не позже — вы отправитесь со мной. Вы увидите, что я хороший господин, да и слуга неплохой. Я люблю тех, кто мне принадлежит, и в моей власти все наслаждения и роскошь этого мира. Семилетний срок начинается сегодня, а истечет в полночь того дня, который я назвал, в году… (и он назвал год, не помню какой, но вычислить его было нетрудно), а если вы желаете повременить с подписью, то через восемь месяцев и двадцать восемь дней приходите сюда снова. Однако до той поры я смогу вам помочь лишь немногим, а если вы не подпишете и тогда, то и это немногое исчезнет и вы останетесь в том же положении, что и сегодня, и будете рады повеситься на первом же попавшемся суку».

Кончилось это дело тем, что сэр Доминик решил подождать и вернулся домой. Сэр Доминик снова постучался в кухонное окошко и, войдя, швырнул на стол мешок, выпрямился и расправил плечи, словно человек, сбросивший тяжелый груз; он смотрел на мешок, а мой дед — на хозяина, потом на мешок и опять на хозяина. И сэр Доминик, белый как полотно, произнес: «Не знаю, Кон, что там внутри, но тяжелее груза мне носить не доводилось».

Похоже было, он боится туда заглянуть; он велел деду подбросить в очаг торфа и дров, чтобы пламя загудело, а потом наконец открыл мешок и убедился, конечно, что внутри полным-полно золотых гиней, новехоньких и сияющих, будто прямо с монетного двора.

Сэр Доминик, приказав моему деду сесть рядом, сосчитал все до последней монеты.

Закончив считать, уже незадолго до рассвета, сэр Доминик заставил моего деда поклясться никому ни словом не обмолвиться о происшедшем. И его секрет надежно сохранялся многие годы.

Когда восемь месяцев и двадцать восемь дней почти уже миновали, сэр Доминик вернулся сюда сам не свой, гадая, что делать дальше, и ни одна живая душа не ведала, что с ним приключилось, кроме моего деда, да и тому не все было известно.

Назначенный день — в конце октября — приближался, и сэра Доминика все больше донимала забота.

Одно время он решил, что джентльмен из леса Мурроа и все прочие той же породы ему не товарищи и разговаривать с ними не о чем. А потом сэр Доминик вспомнил о долгах, о том, что ему некуда податься, и сердце его дрогнуло.

А за неделю до условленного дня все дела у него пошли наперекосяк. Из Лондона доставили письмо, где было сказано, что сэр Доминик заплатил три тысячи фунтов не тому, кому следовало, и придется платить заново; появился кредитор, о котором сэр Доминик раньше не знал, и потребовал денег; другой, в Дублине, отказался признать оплату громадного счета, а сэр Доминик не мог найти расписку, и так все остальное, за что ни возьмись.

Когда приблизилась ночь двадцать восьмого октября, у сэра Доминика голова шла кругом из-за кредиторов, опять набросившихся на него со всех сторон, а надеяться было не на что, только на ночную встречу в ближнем дубовом лесу со своим жутким знакомцем.

Ничего другого не оставалось, кроме как довершить начатое, и приблизительно в час своей прошлой прогулки в лес сэр Доминик снял с себя небольшое распятие, в котором прятал евангельское изречение и кусочек подлинного креста, — ведь сэр Доминик был католик и носил распятие на шее не снимая, потому что, взяв деньги у нечистого, стал трусить и всеми путями стремился от него оборониться. Но в ту ночь сэр Доминик не осмелился взять распятие с собой.

Он вложил его в руки моего деда, не говоря ни слова, и, бледный как смерть, прихватив шляпу и шпагу, велел деду дожидаться и пошел испытать свою судьбу.

Ночь была прекрасная, тихая, луна — правда, не такая яркая, как в прошлый раз, — лила свет на вересковый ковер, скалы и унылый дубовый лес, раскинувшийся внизу.

Когда сэр Доминик приблизился к опушке, сердце его бешено колотилось. Все затихло; из деревни, оставшейся далеко позади, не доносилось даже лая собак. Второго такого тоскливого места не было во всей округе, и если бы долги и денежные потери не подталкивали его вперед, лишая разума и заставляя забыть о душе, о надеждах на райское блаженство и обо всем, что нашептывал ангел-хранитель, сэр Доминик повернул бы обратно, послал бы за священником, исповедался и покаялся, изменил бы свою жизнь и стал бы вести себя примерно — для этого он был достаточно напуган.

В тени дубовых сучьев сэр Доминик замедлил шаги, а приблизившись к тому месту, где ему в прошлый раз встретился злой дух, остановился и огляделся; он чувствовал, что холодеет как мертвец, а когда заметил того же джентльме-

на, выходящего из-за большого дерева совсем рядом, то — сами понимаете — от этого ему не полегчало.

«Деньги вам пригодились, — говорит джентльмен, — но их было мало. Не важно, вы получите достаточно, еще и с лихвой. Я позабочусь о вашей удаче и укажу, где ее искать; а если пожелаете меня видеть, то достаточно будет прийти сюда, представить себе мое лицо и пожелать, чтобы я явился. К концу года за вами не останется ни шиллинга долга; в картах, игре в кости, на скачках везение всегда будет на вашей стороне. Хотите?»

У сэра Доминика перехватило дыхание, но он все же сумел выдавить из себя одно или два слова согласия; вслед за тем нечистый протянул ему иглу, велел нацедить три капли крови из руки, собрал кровь в желудевую чашечку и дал сэру Доминику перо, чтобы тот записал под диктовку на двух тонких полосках пергамента несколько непонятных слов. Один пергамент нечистый дух взял себе, а второй погрузил в ранку на руке сэра Доминика и сомкнул ее края. Все это так же верно, как то, что вы здесь сидите!

И сэр Доминик отправился домой. Он был смертельно испуган, да оно и понятно. Однако в скором времени он стал успокаиваться. Как

бы то ни было, он очень быстро расплатился с долгами, деньги на него так и валились: за что бы он ни взялся, все удавалось; в пари, в игре — всюду ему везло, но, несмотря на это, самый последний бедняк во владениях сэра Доминика был счастливей хозяина.

И сэр Доминик взялся за старое, потому что вместе с деньгами вернулись и прежние привычки: собаки, лошади, море вина, веселье, гульба и кутежи здесь, в большом доме. Кое-кто поговаривал, будто сэр Доминик думает жениться, но другие (а таких было больше) им не верили. Так или иначе, но отчего-то он сильнее обычного беспокоился и однажды ночью втайне от всех отправился в одинокий дубовый лес. Мой дед подозревал, что его тревоги были связаны с красивой молодой леди, которую он ревновал и любил до безумия. Но это всего лишь догадка.

В тот раз в лесу на сэра Доминика напал еще больший страх, чем раньше; он уже собирался развернуться и поскорей унести ноги, когда заметил рядом прежнего джентльмена, который сидел на крупном камне под деревом. Но теперь он выглядел не нарядным молодым человеком в золотых кружевах и пышном платье, а настоящим оборванцем и казался в два раза выше

ростом против прежнего; лицо его было испачкано сажей, а на коленях лежал жуткого вида стальной молот, большой и претяжелый, с рукоятью в добрый ярд длиной. Под деревом было так темно, что сэр Доминик не сразу его разглядел.

Джентльмен поднялся и оказался настоящим великаном. Что произошло между ними, мой дед так и не узнал. Но после этой встречи сэр Доминик сделался черен как туча, ничему не радовался, почти ни с кем не разговаривал и становился все угрюмей и мрачней. И тогда этот малый — кто бы он ни был — повадился являться к нему сам по себе, без приглашения; он подстерегал сэра Доминика в уединенных местах, то в одном, то в другом обличье, и временами составлял ему компанию, когда тот ночью возвращался домой верхом; так продолжалось, пока сэр Доминик не перетрухнул окончательно и не послал за священником.

Священник просидел у него долго и, когда выслушал всю историю, пустился на лошади за епископом; на следующий же день сюда, в большой дом, приехал епископ и дал сэру Доминику хороший совет. Он сказал, чтобы тот бросил играть в кости, божиться, пить и якшаться с дурными людьми; пусть ведет тихую, доброде-

тельную жизнь, пока не истечет семилетний срок, и если дьявол не явится за ним в первую же минуту марта, сразу после боя часов, то уговор потеряет силу. До конца срока оставалось тогда месяцев восемь или десять, не больше, и сэр Доминик все это время строго следовал совету епископа и жил как анахорет.

Вы можете себе представить, что он чувствовал, когда настало утро двадцать восьмого февраля.

Как было условлено, явился священник, и сэр Доминик с его преподобием удалились вон в ту комнату и возносили молитвы, пока не пробило двенадцать, и еще добрый час после того, и все было тихо, никого они не видели; а потом священник проспал ночь в комнате по соседству со спальней сэра Доминика так спокойно, что лучше не бывает, а наутро они обменялись рукопожатием и поцелуем, как соратники после выигранного боя.

И тут сэру Доминику подумалось, что настала пора после всех постов и молитв провести приятный вечер, и он послал полудюжине соседей приглашение на обед, остался отобедать и священник, и на столе задымилась чаша с пуншем, и не было конца вину, божбе, игре в кости и карты, и переходили из рук в руки гинеи, и звучали

песни и рассказы, пригодные не для всяких ушей; его преподобие, увидев, какой оборот принимает дело, потихоньку удалился, а когда до полуночи оставались считаные минуты, сэр Доминик, сидевший во главе стола, поклялся, что «ни разу еще так весело не проводил день первого марта в обществе друзей».

«Сегодня не первое марта», — говорит мистер Хиффернан из Балливурина. Он был человек ученый и всегда имел у себя календарь.

«Тогда какое же сегодня число?» — вздрогнув, спросил сэр Доминик и вытаращился на мистера Хиффернана.

«Двадцать девятое февраля, ведь год нынче високосный», — говорит тот.

И не успел он умолкнуть, как часы пробили полночь, и мой дед, который дремал в холле, устроившись в кресле у очага, открыл глаза и увидел, что как раз в том месте, где сейчас на стену падает луч света, стоит маленький коренастый человечек, закутанный в плащ, с копной черных волос, торчащих из-под шляпы.

Мой горбатый приятель указал концом трости на стену, куда падал, разгоняя сгущавшийся в коридоре сумрак, закатный луч.

«Доложи своему хозяину, — произнес челове-

чек страшным голосом, похожим на звериный рев, — что я явился как условлено; пусть спустится ко мне сию же минуту».

И мой дед взошел по тем самым ступенькам, на которых вы сидите.

«Передай ему, что я не могу сейчас спуститься, — говорит сэр Доминик, у которого на лице выступил холодный пот, и обращается к гостям: — Бога ради, джентльмены, не может ли кто-нибудь из вас выпрыгнуть в окошко и привести сюда священника?»

Гости обменялись взглядами, не зная, что и думать, а тем временем снова вошел мой дед и, весь дрожа, доложил:

«Он говорит, сэр, если вы не спуститесь к нему, то он поднимется к вам».

«Ничего не понимаю, джентльмены, пойду посмотрю, в чем дело», — сказал сэр Доминик, стараясь не подавать виду, что боится, и вышел из комнаты, как приговоренный, которого ожидает палач. Он спустился по ступенькам, и двое или трое джентльменов следили за ним через перила. Мой дед сопровождал его, отстав шагов на шесть или восемь, и видел, как посетитель выступил навстречу сэру Доминику, обхватил его и, крутанув, стукнул головой об стену; тут же

дверь холла рывком распахнулась, свечи погасли, а подхваченная ветром зола из очага искрами пробежала по полу под ногами у сэра Доминика.

Джентльмены ринулись вниз. Хлопнула парадная дверь. Народ со свечами в руках забегал вверх-вниз по лестнице. С сэром Домиником все было кончено. Тело подняли и прислонили к стене, но он не дышал. Он уже остыл и начал коченеть.

Той ночью Пат Донован возвращался в большой дом поздно; в полусотне шагов за ручейком, который пересекает дорогу, собака Пата вдруг свернула в сторону, перепрыгнула через стену в парк и подняла такой вой, что слышно было, наверное, на целую милю вокруг; в ту же минуту Пат заметил спускавшихся от дома двух джентльменов, которые молча прошли мимо, — один был коротенький и коренастый, другой фигурой походил на сэра Доминика, но в тени под деревьями встречные и сами мало чем отличались от теней; не уловив даже вблизи шума их шагов, Пат в испуге отшатнулся к стене; в большом доме он застал суматоху и лежавшее вот здесь тело хозяина с разбитой вдребезги головой.

Рассказчик поднялся и концом трости указал точное место, где лежало тело; пока я глядел, тени

сгустились, красный закатный луч, упиравшийся в стену, исчез, солнце спряталось за отдаленным холмом у Ньюкасла, оставив овеянный тайной пейзаж тонуть в серых сумерках.

Мое прощание с рассказчиком не обошлось без взаимных добрых пожеланий и скромного дарения, принятого им, судя по всему, весьма охотно.

Я вернулся в деревню, когда уже наступила ночь и взошла луна, взобрался на свою лошадку и в последний раз окинул взглядом местность, где родилась страшная легенда Дьюнорана.

1872

Роберт Льюис Стивенсон
1850–1894



Маркхейм

— Да, сэр, — сказал хозяин лавки, — в нашем деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет удача. Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят мне проценты. Попадаются люди бесчестные… — Тут он поднял свечу повыше, так что свет резко ударил в лицо его собеседнику. — Но в таком случае, — заключил он, — я выгадываю на своем добром имени.

Маркхейм только что вошел в лавку с залитой светом улицы, и его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, разреженной кое-где яркими бликами. Эти неспроста сказанные слова и близость горящей свечи заставили его болезненно сморщиться и отвести взгляд в сторону.

Антиквар усмехнулся.

— Вы приходите ко мне в первый день Рождества, — продолжал он, — зная, что, кроме меня, в доме никого нет, что окна в лавке закрыты ставнями и что я ни в коем случае не буду заниматься торговлей. Ну что ж, вам это будет накладно. Вы поплатитесь за то, что я потрачу время на подсчет нового итога в моей приходной книге, а также за некую странность вашего поведения, которая

уж очень заметна сегодня. Я сама скромность и никогда не задаю лишних вопросов, однако, если клиент не смотрит мне в глаза, с него за это причитается.

Антиквар снова усмехнулся, но тут же перешел на свой обычный деловой тон, хотя все еще с оттенком иронии.

— Как всегда, вы, разумеется, дадите мне исчерпывающее объяснение, каким образом вещь попала к вам в руки, — сказал он. — Все из того же шкафчика вашего дядюшки? Какой он у вас замечательный собиратель редкостей, сэр!

И тщедушный, сгорбленный антиквар чуть не привстал на цыпочки, всматриваясь в Маркхейма поверх золотой оправы очков и с явным недоверием покачивая головой. Маркхейм ответил ему взглядом, полным бесконечной жалости и чуть ли не ужаса.

— На этот раз, — сказал он, — вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет никаких диковинок на продажу; в шкафчике моего дядюшки хоть шаром покати. Но если бы даже он был набит, как прежде, я, пожалуй, скорее занялся бы его пополнением, потому что за последнее время мне сильно везло на бирже. Цель моего сегодняшнего прихода проще простого. Я

подыскиваю рождественский подарок для одной дамы. — Он говорил все свободнее, входя в колею заранее приготовленной речи. — И, разумеется, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил вас по столь ничтожному поводу. Но вчера я не удосужился заняться этим; мое скромное подношение надо сделать сегодня за обедом, а как вы сами отлично понимаете, богатой невестой пренебрегать не годится.

Последовала пауза, во время которой антиквар как бы взвешивал слова Маркхейма. Тишину нарушало только тиканье множества часов, висевших в лавке среди прочей старинной рухляди, да отдаленное громыхание экипажей на соседней улице.

— Хорошо, сэр, — сказал антиквар. — Пусть будет по-вашему. В конце концов, вы мой давний клиент, и если вам действительно удастся сделать хорошую партию, не мне быть этому помехой. Вот, пожалуйста, отличный подарок для дамы, — продолжал он. — Ручное зеркальце. Пятнадцатый век, подлинное и из хорошей коллекции. Из чьей именно, я умолчу в интересах моего клиента, который, подобно вам, уважаемый сэр, приходится племянником и единственным наследником одному замечательному коллекционеру.

Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.

— Зеркало, — хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно: — Зеркало? На Рождество? Да можно ли?

— А что тут такого? — воскликнул антиквар. — Почему не подарить зеркало?

Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.

— Вы спрашиваете почему? — сказал он. — Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет. И никому не может быть приятно.

Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:

— Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.

— Я пришел к вам, — сказал Маркхейм, — за

рождественским подарком, а вы… вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало — это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажете о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.

Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.

— Куда вы клоните? — спросил антиквар.

— Неужто не сердобольный? — хмуро проговорил Маркхейм. — Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?

— Сейчас я вам скажу, все или не все, — резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся: — Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.

— А-а! — воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством. — А вы-то

сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.

— Я? — воскликнул антиквар. — Я — и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?

— Куда нам спешить? — возразил ему Маркхейм. — Стоим, беседуем — это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни — обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческое. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?

— Мне осталось сказать вам только одно, — проговорил антиквар. — Покупайте или уходите вон из моей лавки!

— Правильно, правильно, — сказал Маркхейм. — Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.

Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость, — и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.

— Может, вот это вам подойдет? — сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.

Время заговорило в лавке десятками негромких голосов — и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее

огонек с торжественной мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся лавка полнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.

Полный страха, блуждающий взгляд Маркхейма вернулся к телу его жертвы, которая лежала съежившись и в то же время словно распластавшись на полу и казалась до невероятия маленькой и, как ни странно, еще более жалкой, чем при жизни. В своей убогой, ветхой одежонке, в этой нелепой позе антиквар стал похож на кучу опилок. Минуту назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а оказалось — вот только и всего! И тем не менее под его взглядом эта охапка заношенной одежды и лужа крови начинали обретать весьма выразительный голос. Вот так оно будет лежать; некому привести в действие хитроумные пружинки этого тела или управлять

чудом движения — так ему и придется лежать до тех пор, пока его не обнаружат. Обнаружат! А тогда что? Тогда эта мертвая плоть так возвысит свой голос, что он разнесется по всей Англии и отзвуки погони наполнят весь мир. Да, мертвый, живой ли, он все еще враг. «Было время, когда у жертвы череп размозжен, кончался человек, и все кончалось», — вспомнилось ему, и мысль его сразу ухватилась за это слово: время! Теперь, после того как дело сделано, время, остановившееся для жертвы, обрело огромное безотлагательное значение для убийцы.

Эта мысль все еще владела Маркхеймом, когда сначала одни, потом другие — в разном темпе, на разные голоса, то густые, как у колокола на соборной колокольне, то звонко отстукивавшие начальные такты вальса — часы начали отбивать три пополудни.

Внезапный говор стольких языков, нарушивших безмолвие, ошеломил Маркхейма. Он заставил себя прийти в движение среди зыбких теней, которые обступали его со всех сторон, и со свечой в руке заходил по лавке, обмирая от страха при виде своих беглых отражений, возникавших то тут, то там. Эти отражения, точно скопище шпионов, замелькали в богатых зеркалах — ан-

глийской, венецианской и голландской работы; глаза Маркхейма встречались с собственным шарящим взглядом, звуки собственных шагов, хоть и приглушенных, будоражили окружавшую тишину. И пока он набивал себе карманы, разум с томительным упорством твердил ему о тысяче просчетов в его замысле. Надо было выбрать час затишья; надо было позаботиться об алиби; не надо было убивать ножом; надо было действовать осмотрительнее и только связать антиквара и засунуть ему в рот кляп; или же, напротив, проявить бóльшую смелость и убить заодно и служанку — все надо было делать по-иному. Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь, как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим непоправимо содеянного. И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи, точно крысы, снующие на заброшенном чердаке, поднимали бурю в далеких уголках его мозга: вот рука констебля тяжело ложится ему на плечо — и нервы его дергались, как рыба на крючке; перед ним вихрем проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб.

Мысль о прохожих на улице осаждала его со

всех сторон, как неприятельское войско. Ведь не может же быть, думал он, чтобы отзвуки насилия не достигли чьего-либо слуха, не пробудили чьего-либо любопытства. И он представлял себе, что в соседних домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись, — одиночки, встречающие Рождество воспоминаниями о прошлом и вдруг оторванные от этого сладостного занятия, и счастливые, семейные, и вот они тоже замолкают за праздничным столом, и мать предостерегающе поднимает палец. Сколько их, самых разных — по возрасту, положению, характеру, — и ведь хотят дознаться, и прислушиваются, и плетут веревку, на которой его повесят. Иногда ему казалось, будто он ступает недостаточно тихо; позвякивание высоких бокалов богемского стекла отдавалось в его ушах, как удары колокола; опасаясь полнозвучного тиканья часов, он готов был остановить маятники. А потом тревога начинала нашептывать ему, что самая тишина лавки зловеща, что она насторожит прохожих и заставит их задержать шаги. И он ступал смелее, не остерегаясь, шарил среди вещей, загромождавших лавку, и старательно, с напускной храбростью, подражал движениям человека, не спеша и деловито хозяйничающего у себя дома.

Но теперь страхи так раздирали Маркхейма, что покуда одна часть его мозга была начеку и всячески хитрила, другая трепетала на грани безумия. И с особой силой завладела им одна галлюцинация. Бледный как полотно сосед, замерший у окна, или прохожий, во власти страшной догадки остановившийся на тротуаре, — эти в худшем случае могут только заподозрить что-то, а не знать наверное, сквозь каменные стены и ставни на окнах проникают лишь звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Да, разумеется, один. Ведь он выследил служанку, когда она отправилась по своим амурным делам в убогом праздничном наряде, каждый бантик которого и каждая ее улыбка говорили: «Уж погуляю сегодня вволю». Нет, конечно, он здесь один. И все же где-то наверху, в недрах этого пустынного дома, ему явственно слышался шорох тихих шагов — сам не зная почему, он ясно ощущал чье-то присутствие здесь. Да, несомненно! В каждую комнату, в каждый закоулок дома следовало за этим его воображение; вот оно, безликое, но зрячее, вот превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара, вновь ожившего, вновь коварного и злого.

Время от времени он через силу заставлял себя

посмотреть на открытую дверь, которая все еще как бы отталкивала от себя его взгляд. Дом был высокий, фонарь в крыше маленький, грязный, день слепой от тумана, и свет, еле просачивавшийся сверху до нижнего этажа, чуть заметно лежал у порога лавки. И все же — не тень ли чья-то колыхалась там, в этом мутном световом пятне?

Вдруг какой-то чрезвычайно весело настроенный джентльмен начал колотить снаружи палкой во входную дверь лавки, сопровождая удары возгласами, шуточками и то и дело окликая антиквара по имени. Оледенев от ужаса, Маркхейм бросил взгляд на мертвеца. Нет, убитый лежал неподвижно; он ушел далеко-далеко, туда, куда не достигали эти призывы и стук, утонул в пучине безмолвия, и его имя, которое он различил бы прежде даже сквозь рев бури, стало пустым звуком. Вскоре, однако, весельчак бросил ломиться в дверь и удалился.

Вот он, красноречивый намек, что надо поскорее все доделать, уйти из этих мест, которые несут в себе осуждение, погрузиться в глубь лондонского людского моря и достичь — уже по ту сторону минувшего дня — своей постели, этой надежной, оберегающей от улик гавани. Один гость сюда

уже наведался; в любую минуту может появиться другой, более настойчивый. Но сделать то, что сделано, и не пожать плодов — такая неудача будет непереносима. Деньги — вот о чем думал теперь Маркхейм, и средством к достижению этой цели были ключи.

Он оглянулся через плечо на дверь, где все еще маячила, колыхаясь на пороге, та самая тень, и без душевного содрогания, но чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве. В ней не осталось ничего живого, человеческого. Руки и ноги, разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками, — и все же в этом трупе было что-то отталкивающее. На взгляд он такой жалкий, невзрачный, но, когда прикоснешься, не почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного? Маркхейм взял антиквара за плечи и перевернул его навзничь. Он был на удивление легкий и податливый, руки и ноги, будто сломанные, под несуразными углами легли на пол. Лицо лишено всякого выражения, желтое как воск, а на правом виске страшно расползлась кровь. Только это и резануло Маркхейма и мгновенно унесло его назад, к одному памятному ярмарочному дню в рыбацкой деревушке: серый день, посвистывающий

ветер, людские толпы на улице, рев медных труб, буханье барабанов, гнусавый голос уличного певца и маленький мальчик, шныряющий среди взрослых. Мальчика раздирают любопытство и страх, и, пробившись наконец на площадь, туда, где толпа всего гуще, он видит балаган и большую доску с нелепыми, грубо размалеванными картинками: Элизабет Браунриг со своим подмастерьем, чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом, и еще десятка два других прогремевших на всю страну преступников. Это возникло перед ним как видение; он снова был тем маленьким мальчиком, снова с таким же чувством гадливости разглядывал мерзкие картинки, оглушительная барабанная дробь по-прежнему звучала у него в ушах. В памяти пронесся обрывок песенки, услышанной в тот день, и тут впервые его охватила дурнота и чуть затошнило, и он почувствовал слабость во всех членах, которую надо было немедленно пресечь и побороть.

Он решил, что разумнее будет не отмахиваться от этих новых мыслей и не бежать их, а смелее взглянуть в мертвое лицо, заставить себя осознать сущность и огромность своего преступления. Ведь совсем недавно в этом лице отражалась

каждая смена чувств, эти бледные губы выговаривали слова, это тело было согрето волею к действию, а теперь, после того, что сделал он, Маркхейм, эта частичка жизни остановлена, подобно тому как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов. Но тщетны были все его доводы: на угрызения совести он не мог себя подвигнуть. Сердце, содрогавшееся когда-то при виде аляповатых изображений убийств, бестрепетно взирало на действительность. Он чувствовал лишь проблеск жалости к тому, кто, будучи наделен всеми способностями, которые могут превратить мир в волшебный сад, так и не использовал их, и не жил настоящей жизнью, и теперь лежал мертвый. Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени.

И, стряхнув с себя все эти мысли, он отыскал ключи и подошел к внутренней двери; она все еще стояла приоткрытая. На улице хлынул ливень, и шум дождевых струй по крыше прогнал тишину. Точно в пещере, со сводов которой капает, по дому ходило несмолкаемое эхо дождя, глушившее слух и мешавшееся с громким тиканьем часов. И когда Маркхейм подошел к двери, он услышал в ответ на свою осторожную поступь чьи-то шаги, удалявшиеся вверх по лестнице.

Тень у порога все еще переливалась зыбью. Он подтолкнул свою мускулатуру всем грузом решимости и затворил дверь.

Слабый свет туманного дня тусклым отблеском лежал на голом полу и ступеньках, на серебристых рыцарских доспехах с алебардой в рукавице, загромождавших лестничную площадку, на резных фигурках и на картинах в рамах, развешанных по желтым стенным панелям. Шум дождя так громко отдавался во всем доме, что в ушах Маркхейма он начинал дробиться на разные звуки. Шаги и вздохи, маршевая поступь солдат где-то в отдалении, звяканье монет при счете и скрип осторожно открываемых дверей — все это как бы сливалось со стуком дождя по крыше и хлестанием воды в сточных трубах. Чувство, что он не один здесь, доводило Маркхейма почти до безумия. Какие-то призраки следили за ним, обступали его со всех сторон. Ему чудилось движение в верхних комнатах; слышалось, как в лавке встает с пола мертвец, и когда он с огромным усилием стал подниматься по лестнице, чьи-то ноги тихо ступали впереди него и тайком следовали за ним. Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа была бы спокойна! И тут же, вслушиваясь с обостренным вниманием, он снова

и снова благословлял это недреманное чувство, которое все время было начеку, точно верный часовой, охранявший его жизнь. Он непрестанно вертел головой по сторонам; глаза его, чуть ли не вылезавшие из орбит, всюду вели слежку, и всюду мелькало нечто, чему не подобрать имени, и всякий раз скрывалось в последний миг. Двадцать четыре ступеньки на верхний этаж были для Маркхейма пыткой, перенесенной двадцать четыре раза.

Там, наверху, три приотворенные двери, точно три засады, грозившие пушечными жерлами, хлестнули его по нервам. Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным от все примечающих людских взглядов; ему хотелось домой, под охрану своих стен, — зарыться в постель и стать невидимым для всех, кроме Бога. И тут он подивился, вспомнив рассказы о других убийцах, об их страхе перед карой небесной. Нет, с ним так не будет. Он страшился законов природы — как бы они, следуя своим жестоким, непреложным путем, не изобличили его. И еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее за-

конов. Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила, выводя следствия из причин. Но что, если природа, как побежденный самодур, опрокидывающий шахматную доску, поломает форму этой взаимосвязи? Нечто подобное (как утверждают историки) случилось с Наполеоном, когда зима изменила время своего прихода. Так же может случиться и с ним; плотные стены вдруг станут прозрачными и обнаружат его здесь, как пчелу, хлопочущую в стеклянном улье; крепкие половицы вдруг уйдут из-под ног, точно трясина, и удержат его в своих цепких объятиях; да и более заурядные случаи могут принести ему погибель. Вдруг дом рухнет и заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний и со всех сторон к нему двинутся пожарные. Вот что его страшило, и ведь в какой-то мере все это можно будет счесть десницей Господней, подъятой против греха. Впрочем, с Богом он как-нибудь поладит: он содеял, бесспорно, нечто исключительное, но, как известно Богу, не менее исключительны и причины, приведшие его к этому. И там, в небесах, а не от людей, ждал он справедливого суда.

Когда он благополучно добрался до гостиной и затворил за собой дверь, у него отлегло от сердца. Комната эта была в полном беспорядке, к тому же

без ковра, ее загромождали упаковочные ящики и самая сборная мебель: высокие трюмо, в которых он отражался под разными углами, точно актер на сцене, много картин в рамах и без рам — все поставленные лицом к стене, прекрасный шератоновский буфет, горка с инкрустацией и широкая старинная кровать под гобеленовым пологом. Окна здесь шли до самого пола, но, по великому счастью, нижняя половина их была закрыта ставнями, и это скрывало Маркхейма от соседей. И вот, придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи. Дело это оказалось затяжным, да и докучным, ибо ключей было много, а в горке могло и не найтись то, что он искал, между тем как время летело быстро. Однако кропотливость этого занятия успокоила его. Уголком глаза он видел дверь — изредка даже посматривал на нее, точно полководец в осаде, довольный надежностью своей обороны. Да, он был спокоен. Дождь за окнами шумел так естественно и уютно. А вот на другой стороне улицы проснулось чье-то фортепьяно, и хор детских голосов подхватил напев и слова гимна. Какая величавая и умиротворяющая мелодия! Какая свежесть в юных голосах! Подбирая ключи, Маркхейм с улыбкой слушал их, и в памяти у него

толпились ответные мысли и картины: дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками, плывущими в небе по ветру; а с новой строфой гимна он снова в церкви, и снова дремотность летних воскресных дней, сладкий тенор пастора (вспомянутый с легкой улыбкой), раскрашенные надгробия времен короля Якова и полустертые буквы на доске с десятью заповедями в часовне.

Так он сидел, машинально перебирая ключи, и вдруг вскочил на ноги. Ледяная волна, волна огненная, кровь, забурлившая в жилах, захлестнули его; потрясенный, он замер на месте. Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул, и дверь отворилась.

Страх тисками сжимал Маркхейма. Он не знал, чего ему ждать. Кто это? Мертвец ли идет сюда, или должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель, который случайно забрел в лавку и теперь препроводит его на виселицу? Но вот чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем — кивок и дружеская, словно знакомому, улыбка, а вслед за тем лицо это ис-

чезло, дверь затворилась, и страх, с которым Маркхейм уже не мог совладать, вырвался наружу в хриплом крике. И, услышав его, неведомый посетитель вернулся.

— Ты звал меня? — приветливо спросил он, вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Маркхейм стоял и смотрел на него, не отрываясь. Оттого ли, что глаза ему застилало туманом, очертания этого пришельца словно бы менялись и подергивались зыбью, как у тех фарфоровых божков в зыбком освещении лавки. И то ему казалось, будто он знает его, то мерещилось в нем сходство с самим собой; и ужас глыбой давил ему грудь при мысли, что перед ним предстало нечто чуждое и земле, и небесам.

Однако в пришельце этом, с улыбкой смотревшем на Маркхейма, было что-то самое заурядное, и когда он спросил:

— Ты, наверно, ищешь деньги? — вопрос его прозвучал равнодушно-вежливо.

Маркхейм ничего ему не ответил.

— Я должен предупредить тебя, — снова заговорил пришелец, — что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обычного и скоро вернется. Если мистера Маркхейма застанут здесь, мне не надо объяснять ему, что из этого

воспоследует.

— Ты меня знаешь? — воскликнул убийца.

Неизвестный улыбнулся.

— Ты мой давний любимец, — сказал он, — я долгие годы наблюдаю за тобой и не раз старался тебе помочь.

— Кто ты? — воскликнул Маркхейм. — Дьявол?

— Важна услуга, — возразил ему неизвестный, — а кто ее окажет, не имеет значения.

— Нет, имеет! — воскликнул Маркхейм. — Имеет! Принять помощь от тебя? Никогда! Только не от тебя! Ты еще меня не знаешь. Благодарение Богу, ты не знаешь меня!

— Я тебя знаю, — ответил неизвестный сурово, но без злобы. — Я знаю тебя наизусть.

— Знаешь? — воскликнул Маркхейм. — Кто меня может знать? Моя жизнь — пародия и поклеп на меня самого. Я прожил ее наперекор своей натуре. Все так живут. Человек лучше той личины, что прикрывает и душит его. Жизнь волочит нас за собой, точно наемный убийца, который хватает свою жертву и набрасывает на нее плащ. Если б люди могли распоряжаться собой, если б можно было видеть их истинные лица, они предстали бы перед светом совсем иными, они воссияли бы подобно святым и героям! Я хуже многих, я

обременен грехами, как никто другой, но то, что послужит мне оправданием, знаю только я и Господь Бог. И будь у меня сейчас время, я раскрыл бы себя до конца.

— Передо мной? — спросил неизвестный.

— Прежде всего перед тобой, — ответил убийца. — Я полагал, что ты умен. Я думал, что — раз уж ты существуешь — ты сердцевед. А ты хочешь судить меня по моим делам! Подумать только — по делам! Я родился и жил в стране великанов. Великаны тащили меня за руки с того первого часа, как мать даровала мне жизнь. Великаны эти — обстоятельства нашего существования. А ты хочешь судить меня по моим делам! Но разве тебе не дано заглянуть мне в душу? Не дано понять, что зло ненавистно мне? Неужто ты не видишь там, в глубине, четкие письмена совести, хотя и пребывающие нередко втуне, но ни разу не перечеркнутые измышлениями ложного ума? Неужто тебе не дано распознать во мне существо самое заурядное среди людей — грешника поневоле?

— Все это изложено с большим чувством, — последовал ответ, — но я тут ни при чем. Твои логические выкладки меня не касаются, и мне безразлично, какие именно силы влекли тебя за собой, важно, что ты подчинился им. Но время

летит; служанка идет не торопясь, разглядывает встречных на улице и щиты с афишами, но все-таки она подходит все ближе и ближе. И помни, это все равно что сама виселица шагает сюда по праздничным улицам. Ты примешь мою помощь — помощь того, кому ведомо все? Сказать тебе, где лежат деньги?

— А что ты потребуешь взамен? — спросил Маркхейм.

— Пусть это будет моим рождественским подарком, — ответил неизвестный.

Маркхейм не удержался от горькой, но торжествующей улыбки.

— Нет, — сказал он. — Из твоих рук мне ничего не надо. Если б я умирал от жажды и твоя рука поднесла мне кувшин к губам, у меня хватило бы мужества отказаться. Пусть это покажется неправдоподобным, но я не сделаю ничего такого, что ввергнет меня во власть зла.

— Я не возражаю против покаянной исповеди на смертном одре, — сказал незнакомец.

— Потому что не веришь в ее действенность! — воскликнул Маркхейм.

— Дело не в этом, — возразил ему неизвестный. — Пойми, что я смотрю на все такое под другим углом, и когда жизнь человеческая подхо-

дит к концу, мой интерес к ней угасает. Человек жил у меня в услужении, бросал на ближних своих черные взгляды, прикрываясь благочестием, или же, подобно тебе, сеял плевелы между пшеницей, безвольно потворствуя обуревавшим его страстям, и на пороге своего освобождения он может сослужить мне еще одну службу — покаяться, умереть с улыбкой на устах и этим подбодрить более робких моих приверженцев, из тех, что еще живы, и вселить в них надежду. Я не такой уж суровый властелин. Испытай меня. Прими мою помощь. Ублажай себя в жизни, как ты это делал до сих пор; ублажай себя вволю, сядь за пиршественным столом повольготнее, а когда ночь начнет сгущаться и настанет время спустить шторы на окнах — поверь мне, ради собственного спокойствия, — тебе будет совсем не трудно уладить свои неурядицы с совестью и раболепно вымолить мир у Господа Бога. Я только что от такого смертного одра, и комната была полна людей, которые искренне скорбели и проникновенно внимали последним словам умирающего; и, взглянув ему в лицо, прежде такое каменное, не ведавшее милосердия, я увидел, как оно осветилось улыбкой надежды.

— И ты полагаешь, что я тоже такой? — спросил

Маркхейм. — Что побуждения у меня низкие: грешить, грешить и грешить и под конец пробраться в Царство Небесное? Мне претит самая мысль об этом. Так вот оно, твое знание человеческой натуры! Или ты подозреваешь меня в такой низости только потому, что я попался тебе на месте преступления? Неужто же убийство — деяние столь нечестивое, что оно способно иссушить и самые источники добра?

— Я не ставлю его в какой-то особый ряд, — ответил неизвестный. — Всякий грех — убийство, так же как вся жизнь — война. На мой взгляд, род человеческий подобен морякам, гибнущим на плоту в открытом море, когда они вырывают крохи у голода, пожирая друг друга. Я веду счет грехам и после мига их свершения и убеждаюсь, что конечный итог каждого греха — смерть. В моих глазах хорошенькая девушка, которая мило капризничает и перечит матери, собираясь на бал, так же обагрена человеческой кровью, как и ты — убийца. Я сказал, что веду счет грехам? Добродетель я тоже не упускаю из виду, и разница между ними не толще гвоздя: порок и добродетель — всего лишь серп в длани ангела, пожинающего жатву Смерти. Зло, ради которого я существую, коренится не в делах, а в натуре

человеческой. Дурной человек — вот кто дорог мне, но никак не дурные дела, ибо плоды этих дел, если проследить их в сокрушительном водовороте веков, могут стать более благотворными, чем плоды редчайших добродетелей. И я хочу помочь тебе скрыться не потому, что ты убил какого-то антиквара, а потому, что ты Маркхейм.

— Я буду откровенен с тобой до конца, — ответил Маркхейм. — Преступление, за которым ты меня застал, мое последнее. На пути к нему я усвоил не один урок, и оно само стало для меня уроком, серьезнейшим уроком. До сих пор я внутренне противился тому, что делал. Я был в рабстве у нищеты, она преследовала, бичевала меня. Есть на свете несокрушимая добродетель, которая способна устоять перед искушениями; моя не такова: я жаждал радостей жизни. Но сегодня из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение и богатство — то есть силу и новую решимость стать самим собой. Отныне я буду свободен во всех своих поступках, я уже вижу себя совсем другим человеком, вот эти руки творят добро, это сердце обретает мир. Что-то из прошлого возвращается ко мне: что-то такое, что я прозревал впереди, обливаясь слезами над великими книгами, о чем мечтал по воскрес-

ным вечерам под звуки церковного органа или беседовал с матерью в пору невинного детства. Вот он, мой жизненный путь: были годы, когда я отклонялся от него, но теперь передо мной снова встает вдали мое предназначение.

— Надо полагать, ты пойдешь с этими деньгами на биржу? — сказал незнакомец. — И, если не ошибаюсь, несколько тысяч ты уже проиграл там?

— О да! — воскликнул Маркхейм. — Но на сей раз я буду действовать наверняка.

— И на сей раз тоже проиграешь, — спокойно ответил ему неизвестный.

— Но половину-то я приберегу! — воскликнул Маркхейм.

— Эти деньги тоже проиграешь, — сказал неизвестный.

На лбу у Маркхейма выступил пот.

— Ну и что же? — вскричал он. — Пусть я все проиграю, пусть я снова впаду в нищету, но неужели же половина моей натуры, худшая половина, всегда, до самого конца, будет одолевать лучшую? Зло и добро с равной силой влекут меня каждое в свою сторону. Нет во мне любви к чему-то одному — я люблю все. Я могу отдать должное великим свершениям, жертвенности,

мученичеству, и хоть я и пал так низко, что совершил убийство, чувство жалости не чуждо мне. Я жалею бедных: кому другому лучше знать их злоключения? Я жалею бедных и помогаю им. Я готов славить любовь и люблю искренний смех. Все доброе, все истинное, что только есть на свете, — все любо моему сердцу. И разве мою жизнь так и будут направлять пороки, а добродетели останутся лежать втуне, как мертвый груз? Нет, этого не может быть. Добро тоже способно побуждать к действию.

Но его собеседник предостерегающе поднял палец.

— Все тридцать шесть лет, что ты живешь на земле, я слежу за тобой, — сказал он, — я знаю твои колебания и постигшие тебя превратности судьбы и вижу, как ты падаешь все ниже и ниже. Пятнадцать лет назад ты содрогнулся бы при мысли о краже. Три года назад слово «убийство» заставило бы тебя побледнеть. Есть ли такое преступление, есть ли такая жестокость или низость, от которой ты еще способен отшатнуться? Через пять лет ты сам убедишься, что нет. Твой жизненный путь идет под уклон, все под уклон, и, кроме смерти, ничто тебя не остановит.

— Да, верно, — хрипло проговорил Марк-

хейм. — В какой-то мере я покорился злу. Но ведь это можно отнести ко всем людям: даже святые, поскольку жизнь идет своим чередом, день ото дня становятся все менее взыскательны к себе и под конец сливаются с окружающей их средой.

— Я задам тебе простой вопрос, — сказал собеседник Маркхейма, — и в зависимости от ответа прочту тебе твой духовный гороскоп. Ты стал во многих отношениях не так строг к себе; что ж, может быть, это и правильно, поскольку все люди таковы. Хорошо, допустим. Но есть ли что-нибудь — пусть это будет мелочь, — есть ли что-нибудь, с чем тебе труднее примириться в твоих поступках, или ты даешь себе волю во всем?

— Есть ли что-нибудь? — в мучительном раздумье повторил Маркхейм. — Нет, — с отчаянием проговорил он наконец. — Ничего такого нет. Я опустился во всем.

— Тогда, — сказал неизвестный, — принимай себя таким, каков ты есть, ибо тебе уже не измениться и твоя роль на этой сцене определена до конца.

Маркхейм долго стоял молча. Молчание первым прервал неизвестный:

— А если это так, — сказал он, — открыть тебе, где лежат деньги?

— А милосердие? — воскликнул Маркхейм.

— Разве ты не искал его сам? — возразил ему неизвестный. — Разве я не видел тебя года два или три назад на молитвенных собраниях и не громче ли всех звучал твой голос в гимне?

— Да, это правда, — сказал Маркхейм. — И теперь я знаю твердо, что делать, знаю, в чем состоит мой долг. Благодарю тебя от всего сердца за твои поучения; глаза мои открылись, и я наконец-то вижу себя таким, каков я есть.

В этот миг по всему дому разнесся резкий звон дверного колокольчика, и, будто дождавшись условного сигнала, неизвестный сразу заговорил по-другому.

— Служанка! — крикнул он. — Я предупреждал, что она вот-вот должна вернуться, и теперь тебе предстоит сделать еще один трудный шаг. Скажи ей, что ее хозяин занемог; впусти ее; вид у тебя должен быть уверенный и серьезный — не улыбайся, но и не переигрывай, и я обещаю тебе победу. Девушка войдет, дверь за ней захлопнется, и та же сноровка, с которой ты разделался с антикваром, поможет тебе убрать эту последнюю опасность с твоего пути. У тебя впереди будет весь вечер, а если понадобится, то и вся ночь, чтобы отыскать спрятанные здесь сокровища и

благополучно скрыться. Под личиной опасности к тебе идет помощь. Спеши! — воскликнул он. — Спеши, друг мой! Твоя жизнь колеблется на весах! Действуй!

Маркхейм устремил твердый взгляд на своего советчика.

— Если я обречен на злодеяния, — сказал он, — одна дверь, ведущая к свободе, для меня еще открыта — ведь от действия можно отказаться. Если моя жизнь порочна, от нее можно отказаться. Хоть я и поддаюсь, как ты говоришь, любым ничтожным искушениям, я могу сделать решительный шаг и уйти из-под их власти, моя любовь к добру — пустоцвет, ну что ж, пусть так! Но ненависть ко злу во мне еще жива, и ты убедишься, к своему горькому разочарованию, что из этой ненависти я почерпну силу и мужество.

Чудесная, радующая взор перемена вдруг преобразила лицо неизвестного; оно смягчилось и просветлело чувством торжества и нежности, и, светлея, черты его стали таять и расплываться. Но Маркхейм не потратил ни минуты на то, чтобы проследить до конца или осмыслить это преображение. Он распахнул дверь и медленно, в глубоком раздумье спустился по лестнице. Прошлое потекло перед его трезвым взглядом; он

видел его таким, каким оно было, безобразным и изнурительным, точно страшный сон, в нем властвовала беспорядочная игра случая — вот она, картина полного поражения! Жизнь, представшая перед ним, уже не искушала его; но по ту сторону жизни ему виделась тихая пристань, ожидавшая его челн. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где возле убитого все еще горела свеча. Какая странная тишина была там! Он смотрел на труп, и мысли об антикваре вихрем проносились у него в мозгу. Дверной колокольчик снова разразился нетерпеливым звоном.

Маркхейм встретил служанку у порога с подобием улыбки на губах.

— Сходите за полицией, — сказал он. — Я убил вашего хозяина.

1885

Шарлотта Ридделл
1832–1906



Последний из Эннисморских сквайров

— Видал ли я его? Нет, сэр, сам не видал, и отец мой тоже не видал, равно как и дед, тоже Фил Риган, как и я. Однако все это правда, такая же правда, как то, что все это произошло именно там, куда вы сейчас смотрите. Мой прадедушка, проживший, к слову сказать, девяносто восемь лет, — так вот он сколько раз, бывало, рассказывал, как снова и снова встречался ему незнакомец, что одиноко бродил ночь за ночью по песчаному морскому берегу, как раз там, где прибивало обломки разбитых кораблей.

— А старый дом, значит, стоял вон за той полосой сосен?

— Точно так, и роскошный был дом. Отец мой, по его собственным словам, столько раз слышал рассказы об этом доме, что ему уж казалось, будто он знает в нем все комнаты наперечет, хотя дом превратился в руины еще до его рождения. После того как сквайр уехал, из семейства в доме больше никто не жил, да и прочие не отваживались там останавливаться. Все-то там раздавались какие-то жуткие звуки: сначала грохот да стук, точно что-то скатывается с самой вершины лестницы

в холл, а потом гомон, будто множество людей беседует да звенит стаканами. А потом вроде как бочки в подвалах начнут перекатываться, а затем как подымется визг, и вой, и смех, так прямо кровь в жилах и стынет! Поговаривают, будто в тех подвалах зарыто золото, но никто не осмеливался искать его. Даже дети — и те не смеют играть там; а если кто пашет в поле, что за развалинами, и припозднится, нипочем не станет там ночевать. Когда опускается ночь и прилив подступает к берегу, многим мерещатся на берегу разные странности.

— Но что такое им является на самом деле? Когда я попросил хозяина рассказать мне эту историю от начала до конца, он отвечал, что, мол, запамятовал. А по мне, так все это пустая болтовня, россказни, которые повторяют на потеху приезжим.

— А кто ж такой ваш хозяин, как не приезжий? Откуда ему знать, что да как тут было в почтенных семействах вроде Эннисморов? Они-то ведь были самые что ни на есть родовитые, все как один настоящие дворяне. А уж таких злонравных, хоть всю Ирландию обыщи, и то не найдешь. Верно говорю: если Райли не сможет рассказать вам всю историю, то я смогу, потому что, как я

уже говорил, моя семья в ней тоже была хоть как-то да замешана. Так что, если ваша милость соблаговолит присесть и отдохнуть вот тут, на бережку, я поставлю наземь свою вершу и поведаю всю правду о том, как сквайр Эннисмор ушел из Ардвинса.

Стоял чудесный день, самое начало июня, и англичанин, опустившись на песок, обвел бухту Ардвинс взглядом, полным несказанного довольства. Налево виднелся Багровый мыс, направо, до самого горизонта, белели, теряясь вдали, атлантические буруны, а прямо перед англичанином расстилалась бухта, и ее зеленовато-синие волны сверкали в лучах летнего солнца, разбиваясь там и сям о прибрежные камни и обращаясь в пену.

— Видите, сэр, какое тут течение? Тем-то наша бухта и опасна для несведущего путешественника, который рискнет сунуться в воду или отправиться на прогулку, не зная о приливе. Взгляните, как надвигается на нас море — ни дать ни взять лошадь, что несется к финишу на скачках. Вот эта песчаная полоса до последнего остается на поверхности, а потом не успеешь и глазом моргнуть, как ты уже в ловушке. Потому-то я и дерзнул заговорить с вами — смотрю, человек пришлый, надо упредить, ведь бухта наша поль-

зуется дурной славой не только из-за сквайра Эннисмора, но и из-за приливов. Но вы-то хотели послушать о сквайре и о старом доме. По словам моего прадеда, последним из смертных, попытавшихся жить в заброшенном доме Эннисморов, была некая Молли Лири, побирушка без роду и племени; целыми днями она попрошайничала, а ночи проводила в крытой дерном хижине, которую выстроила за канавой, и, уж будьте уверены, она на седьмом небе была, когда агент сказал: «Да пусть попробует пожить в доме; там есть и торф, и мореный дуб (говорит он ей), и полкроны в неделю на зиму, а к Пасхе — гинея», — это когда дом надо будет прибрать перед приездом господ; а жена его дала Молли кой-какую теплую одежду да пару одеял; вот Молли Лири там и устроилась.

Можете не сомневаться, комнату она себе выбрала не худшую, и поначалу все шло тихо-мирно, пока однажды ночью Молли не проснулась оттого, что какая-то неведомая сила подняла под ней кровать за все четыре угла и давай трясти, точно ковер. Надобно вам сказать, кровать-то была тяжеленная, с балдахином, — так Молли с перепугу чуть концы не отдала. И вот трясет кровать, так что та скрипит хуже корабля, попавшего в шторм у наших берегов, а потом как бухнет на прежнее

место — Молли от неожиданности чуть язык не прикусила.

Но как трясло кровать, это еще что, рассказывала затем Молли; а вот как пошли потом по всему дому шорохи, да топот, да смех, да визг! Даже если бы по комнатам, коридорам и лестницам бегала добрая сотня людей, они и то не наделали бы такого шуму.

Молли и сама не помнила, как выскочила из дому; нашел ее один наш местный, который припозднился и возвращался домой с ярмарки в Балликлойне, — бедняжка съежилась вон там, под кустом терновника, едва ли не в чем мать родила, да простит меня ваша милость за такие слова. Ее всю лихорадило, она несла околесицу и с тех пор так и осталась малость не в себе.

— Но с чего все началось? С каких пор дом окружен дурной славой?

— А с тех самых пор, как покинул его старый сквайр. К тому-то я и веду. Пока сквайр не достиг преклонного возраста, он появлялся тут лишь наездами, а как состарился, поселился насовсем. В те времена, о которых я повествую, ему было уже к семидесяти, но осанка у него оставалась прямая, да и в седле он держался как молодой, и перепить мог кого угодно: бывало, все захмелеют

и под стол повалятся, а ему хоть бы что, преспокойно ложится почивать, и вся нежить ночная ему нипочем.

Человек он был ужасный. Не найдешь такого порока, в котором он бы не превзошел сам себя; сызмальства грешил, все грехи испробовал: и пил, и играл, и на поединках дрался — ему это было как воздух. Но наконец натворил он в Лондоне таких гнусных дел, что и словами не опишешь, и порешил уехать оттуда, от англичан, подобру-поздорову да поселиться в нашей глуши, где никто не знает, каков он есть. Поговаривали, будто вознамерился он жить вечно и что будто бы имелись у него некие капли, дарившие вечную жизнь и здоровье. Так оно или не так, а только было в нем что-то на диво странное.

Как я уже говорил, сквайр с любым молодым мог бы потягаться; и станом прям, и лицом свеж, точно юноша, и зорок что твой ястреб, да и по голосу не скажешь, что прожил на свете семь десятков лет!

Но вот наступил март месяц, когда сквайру Эннисмору должно было исполниться семьдесят, и выдался тот март хуже некуда, такого в наших краях еще не видывали — метельный, вьюжный, ветреный. Море все штормило, и вот в одну штор-

мовую ночь разбилось у Багрового мыса какое-то чужеземное судно. Говорят, адский был шум, слышный даже сквозь вой ветра, — и треск, и грохот, и предсмертные вопли; и неведомо, что было страшнее — эти звуки или вид берега, усеянного телами людей самого разного возраста и звания, от мальца-юнги до седобородых моряков.

Кто они были и из каких краев приплыло то злосчастное судно, разузнать так и не удалось, но при покойниках обнаружились и нательные кресты, и четки, и все такое прочее, так что священник сказал, что это христианские души, и погибших отпели в церкви и похоронили как подобает, на нашем кладбище. Среди корабельных обломков ничего стоящего не нашлось; весь ценный груз потонул у Багрового мыса, и волны вынесли на берег бухты только большую бочку бренди.

Сквайр потребовал ее себе: ему по праву принадлежало все, что появлялось на его земле, и бухта тоже считалась его собственностью — вся бухта, каждый фут, до самого Багрового мыса, — так что, разумеется, бренди он забрал себе. Только скверно он поступил, не дав своим людям, выловившим бочонок, ничего, даже стакана виски.

Ну, короче говоря, в бочке оказался самый

чудесный бренди, какой кому-либо доводилось пробовать. Съехались к сквайру на угощение разные господа, ближние и дальние, и пошли у них пирушки, да карты, да кости. Пили они и драли горло ночь за ночью, даже по воскресным дням, Господи, прости их, грешников! Аж из Балликлойна приезжали военные и осушали стакан за стаканом до самого утра понедельника, потому что из того бренди выходил великолепный пунш.

А потом вдруг раз — и как отрезало, гости больше не появлялись. Прошел слух, будто с бренди этим что-то неладно. Никто в точности не мог сказать, в чем дело, а только поговаривали, что кое-кому этот бренди начал приносить сплошные несчастья.

Те, кто испробовал напиток из бочки сквайра, стали очень быстро терять деньги. Им не удавалось обыграть сквайра, и среди них начались разговоры о том, что проклятую бочку следует вывезти в море и затопить на глубине полусотни морских саженей.

Шел конец апреля, и погода стояла необыкновенно теплая и ясная для этого времени года. И вот стали замечать, что ночь за ночью по берегу бухты в одиночестве бродит какой-то

незнакомец — смуглый, как и весь экипаж судна, погребенный на нашем местном кладбище, в ушах золотые серьги, на голове чудная шляпа, а ходит так, будто пританцовывает. Из местных его видели несколько человек, и все диву давались. Пытались с ним заговорить, но он в ответ только головой мотал, так что никому не удалось разузнать, откуда он взялся и зачем явился в наши края. И потому решили, что незнакомец этот не кто иной, как призрак одного из многих несчастных, потонувших у Багрового мыса, бесприютная душа, которая ищет себе пристанища в освященной земле.

Наш священник отправился на побережье и тоже попытался разговорить неизвестного. «Чего ты ищешь? — спросил преподобный. — Христианского погребения?» Но смуглый в ответ лишь покачал головой. «Чего ты хочешь? Не весть ли подать женам и детям, которых оставили вы вдовами и сиротами?» Но и это оказалось не так. «Что обрекло тебя бродить здесь — уж не тяжкий ли грех у тебя на душе? Утешат ли тебя заупокойные службы? Вот язычник! — воскликнул преподобный. — Видали ль вы доброго христианина, который бы мотал головой при упоминании церковной мессы?» — «Быть

может, он не понимает по-английски, преподобный, — предположил один из сопровождавших священника офицеров. — Попробуйте обратиться к нему по-латыни».

Сказано — сделано. Но преподобный обрушил на незнакомца такую длинную и причудливую тираду из латинских молитв, что тот обратился в бегство.

«Это злой дух! — воскликнул преподобный, который попытался догнать незнакомца, однако, запыхавшись, отстал. — И я изгнал его!»

Однако же на другую ночь неизвестный вновь как ни в чем не бывало явился на берег.

«Что ж, пусть остается, — объявил преподобный. — Меня вчера так прохватило на берегу, что теперь все кости ноют и в спине прострел, не говоря уж о том, как я охрип, выкликая молитвы на ветру. Да и сомневаюсь я, что он понял хоть слово».

Так продолжалось некоторое время, и незнакомец — или же призрак незнакомца — внушал местным жителям такой страх, что они не осмеливались и близко подойти к берегу. В конце концов сам сквайр Эннисмор, насмехавшийся над рассказами о призраке, надумал отправиться ночью на побережье и разузнать, что там тво-

рится. Может статься, мысль эта пришла сквайру от скуки и одиночества, поскольку, как я уже говорил вашей милости, гости стали обходить его дом стороной и пить ему теперь было не с кем.

И вот однажды ночью сквайр и впрямь отправился в бухту — идет себе и в ус не дует. Лишь немногие отважились последовать за ним, держась на почтительном расстоянии. Завидев сквайра, тот человек устремился к нему и на чужеземный манер приподнял свою шляпу. Чтобы не показаться неучтивым, старый сквайр ответил ему тем же.

«Я пришел, сударь, — заговорил он громко и отчетливо, дабы незнакомец понял его, — желая узнать, что вы ищете и могу ли я вам помочь».

Человек взглянул на сквайра с приязнью, словно тот сразу пришелся ему по сердцу, и вновь приподнял шляпу.

«Не о затонувшем ли судне вы печалитесь?»

Ответа не последовало, незнакомец лишь горестно покачал головой.

«Что ж, корабль ваш не у меня; он разбился у нашего берега еще зимой, а матросы надежно погребены в освященной земле», — сказал сквайр.

Незнакомец не шелохнулся, лишь смотрел на старого сквайра со странной улыбкой на смуглом

лице.

«Так что вам угодно? — нетерпеливо спросил мистер Эннисмор. — Ежели что из вашего имущества потонуло вместе с судном, ищите это у мыса, а не здесь… Или вас интересует, что сталось с той бочкой бренди?»

В общем, сквайр так и сяк пытался добиться у незнакомца ответа, обращался к нему по-английски и по-французски, а потом и вовсе заговорил с ним на языке, которого никто из местных не понимал; и вот тут незнакомец весь встрепенулся — не иначе, заслышал родную речь.

«Ах вот откуда ты родом! — воскликнул сквайр. — Отчего же было сразу не сказать мне? Бренди я тебе отдать не могу — бóльшая его часть уже выпита; но пойдем со мной, и я угощу тебя самым лучшим и крепким пуншем, какой ты когда-либо пробовал».

И они не теряя времени удалились, беседуя, как закадычные друзья — на том самом непонятном чужеземном наречии, которое для добрых людей звучало как сущая тарабарщина.

То была первая ночь их бесед — первая, но не последняя. Должно быть, незнакомец оказался в высшей степени приятной компанией, потому что старый сквайр никак не мог наговориться с

ним вдоволь. Каждый вечер незнакомец приходил в его дом, всегда в том же наряде, вежливо приподымая свою шляпу, с неизменной улыбкой на смуглом лице, а сквайр велел подавать бренди и кипяток, и они пили и играли в карты до самого утра, хохоча и болтая.

Так продолжалось неделю за неделей, и никто не знал, откуда этот человек являлся и куда исчезал по утрам; а старая домоправительница заметила только, что бочонок с бренди почти опустел и что сквайр тает день ото дня; и до того ей стало не по себе, что она отправилась за советом к священнику, но и ему было нечем ее утешить.

Наконец старуха настолько встревожилась, что решила, чего бы ей это ни стоило, подслушать у двери столовой, о чем сквайр беседует со своим ночным гостем. Но те неизменно разговаривали все на том же неведомом заморском наречии, и были то молитвы или богохульства, она понять не могла.

История эта подошла к развязке одной июльской ночью, накануне дня рождения сквайра. В бочке к тому времени не осталось уже ни капли бренди — муху утопить и то не удалось бы. Сквайр и его гость опустошили бочонок досуха, и старуха трепетала, ожидая, что хозяин вот-вот

позвонит и потребует еще, а где взять еще, ежели все выпито?

И вдруг сквайр с незнакомцем выходят в холл. В окна светила полная луна, и было светло как днем.

«Нынче ночью я пойду к тебе в гости, — заявляет сквайр, — для разнообразия».

«Так-таки и пойдешь?» — спрашивает его незнакомец.

«Так-таки и пойду», — отвечает сквайр.

«Ты сам это решил, запомни».

«Да, я сам это решил, а теперь в путь».

И оба удалились, а домоправительница тотчас кинулась к окну, чтобы поглядеть, куда же они направятся. Племянница ее, состоявшая при сквайре горничной, тоже метнулась к окну, а затем подоспел и дворецкий. Вот в ту сторону глядели они из окна и видели, как их хозяин и незнакомец идут вот по этому самому песчаному берегу прямиком к воде, и вот оба входят в воду, и вот волны морские им уже по колено, и вот уже по пояс, затем по шею и наконец сомкнулись над их головами. Но еще прежде того дворецкий и обе женщины стремительно выбежали на берег, взывая о помощи.

— И что же было дальше? — спросил англи-

чанин.

— Ни живым, ни мертвым сквайр Эннисмор назад так и не вернулся. Наутро, когда начался отлив, кто-то увидел на песке отчетливые следы копыт, тянувшиеся к самой кромке воды. Тут-то все поняли, куда ушел старый сквайр и с кем.

— Что же, его больше не искали?

— Да помилуйте, сэр, какой толк был искать?

— Полагаю, никакого. Как бы то ни было, странная история.

— Однако правдивая, ваша милость, — до последнего слова.

— Ну в этом я не сомневаюсь, — ответил довольный англичанин.

1888

Брэм Стокер
1847–1912



Возвращение Абеля Бегенны

Маленькая гавань близ корнуолльской деревушки Пенкасл была залита ярким раннеапрельским солнцем, которое, похоже, надолго вернулось на небосвод после затяжной и суровой зимы. На фоне бледнеющей синевы неба, что, теряясь в тумане, смыкалась с далеким горизонтом, рельефно вырисовывался силуэт крутой темной скалистой горы. Море имело настоящий корнуолльский цвет — сапфировый с густыми вкраплениями изумрудно-зеленого над теми непроницаемыми подводными глубинами у подножия береговых утесов, где свирепо зияли разверстые пасти пещер, дававших приют тюленям. Склоны горы покрывала жухлая бурая трава. Игольчатые ветки кустов дрока были пепельно-серыми, но их золотистые цветы простирались по всему косогору: внизу они доходили до самой воды, а ближе к вершине превращались в скудные желтые пятна и наконец бесследно исчезали там, где властвовали морские ветры, которые, словно ножницы без устали трудившегося незримого садовника, изгоняли со скальных выступов всякую растительность. Своим обликом эта гора, бурая с

проблесками желтизны, напоминала громадную птицу-овсянку.

Маленькая бухта вдавалась в побережье между утесами, что вздымались за одиноко высившейся скалой, изрытой пещерами и пустотами, по которым в штормовую погоду прокатывался оглушительный грохот морских волн, разбивавшихся о камни фейерверками пенных брызг. Вход в бухту, совершавшую далее извилистый поворот на запад, с обеих сторон ограждали небольшие изогнутые волнорезы из темных сланцевых плит, кое-как сложенных в ряд и скрепленных массивными деревянными балками, стянутыми стальной обвязкой. Оттуда поднималось каменистое ложе реки, в незапамятные времена пробитое стремительными ледяными потоками через взгорье. Там, где эта река, в нижнем течении весьма глубокая, становилась шире, во время отливов открывались взору устилавшие дно битые камни, между которыми прятались крабы и омары. Над камнями возвышались крепкие столбы, предназначенные для варпования маломерных каботажных судов, что часто заходили в бухту. Благодаря морским приливам, проникавшим довольно далеко по руслу реки, воды ее и выше по течению были глубокими,

но всегда оставались спокойны, поскольку вся мощь неистовых штормов иссякала в низовьях. В четверти мили от моря река была полноводной только в часы приливов; с отливами вдоль ее берегов обнажались все те же груды битых камней и сквозь щели в них струились, журча, родники с пресной водой. Здесь тоже стояли причальные столбы, и местные рыбаки привязывали к ним свои лодки. По берегам в непосредственной близости от черты, до которой поднималась вода, тянулись ряды пригожих, уютных и прочных домишек со старомодными садиками перед входом, где вовсю цвели смородина, примула, желтофиоль и очиток. Многие фасады были увиты клематисом и глицинией. Оконные рамы и дверные косяки сверкали белизной, к каждому домику вела дорожка, вымощенная мелким цветным камнем. Перед некоторыми дверьми виднелись крохотные крылечки, возле прочих — простецкие табуреты, сделанные из отрезков бревна либо из старых бочонков; и почти на всех подоконниках стояли горшки и коробы с цветами или декоративными растениями.

На разных берегах реки, в домах, расположенных аккурат один напротив другого, жили два человека; двое молодых, недурных собой, обес-

печенных мужчин, которые с мальчишеских лет были и товарищами, и соперниками. Абель Бегенна, по-цыгански смуглый, унаследовал свой облик от путешественника-финикийца из числа тех, что посещали некогда эти края; Эрик Сансон — коего местный антиквар назвал «недоскальдом», — был белокурым и краснолицым, что выдавало в нем потомка диких норманнов. Казалось, с самого их рождения судьба назначила этим двоим вместе идти по жизни и стоять горой друг за друга во всех заварушках, затеях и предприятиях. А завершилось строительство их Храма Дружбы тем, что оба полюбили одну и ту же девушку. Сара Трефьюзис, бесспорно, была первой красавицей Пенкасла, и многие юноши охотно попытались бы добиться ее благосклонности, если бы не эти двое, которым среди жителей деревни не было равных в силе и решительности и которые могли соперничать разве что между собой. Посему все прочие воздыхатели почитали ухаживание за нею делом крайне затруднительным и старались держаться от этой троицы подальше; а все прочие девицы были вынуждены, во избежание худшего, терпеть нытье своих кавалеров и с горечью сознавать, что в глазах последних они стоят в лучшем случае на втором

месте, и это, разумеется, не внушало им дружеских чувств к Саре. Вот так и получилось, что по прошествии года или около того (у деревенского люда романтические отношения развиваются неспешно) эти трое довольно тесно сошлись друг с другом — и поначалу были вполне удовлетворены сложившимся положением вещей. Сара, девица тщеславная и весьма легкомысленная, не могла не воспользоваться возможностью утереть нос всей округе — и мужчинам, и женщинам. Ни одна соперница Сары, прогуливаясь в сопровождении всего лишь одного поклонника, да еще не особо польщенного этой ролью, мягко говоря, не испытывала радости, видя, как тот нежно посматривает на признанную красотку, приближающуюся сразу с двумя преданными обожателями под ручку.

Однако в конце концов наступил момент, которого Сара боялась и который старалась оттянуть, как могла, — момент, когда она должна была выбрать одного из них. Ей нравились оба, и каждый сумел бы удовлетворить запросы и куда более привередливой девушки. Но такова уж была натура Сары, что она думала скорее о вероятных потерях, чем о возможных приобретениях, и всякий раз, когда ей казалось, что

все решено, она тотчас начинала сомневаться в правильности своего выбора. Тот, кому предстояло быть отвергнутым, неизменно обретал в ее глазах новые, более выгодные достоинства, которых она не замечала прежде, когда чаша весов склонялась в его пользу. Каждому из них она пообещала, что даст ответ в свой день рождения, одиннадцатого апреля, — и вот этот день настал. И с Абелем, и с Эриком девушка разговаривала с глазу на глаз и задолго до названной даты, но ухажеры Сары относились к числу тех мужчин, которые не склонны забывать о данном им слове. Рано утром она обнаружила, что оба беспокойно топчутся у ее двери. Ни один из них не открыл сопернику цели своего прихода, каждый всего лишь хотел каким-нибудь образом получить ответ раньше другого, чтобы, если понадобится, с удвоенной силой возобновить прежние притязания. Даже Дамон, намереваясь просить руки девушки, обычно не брал с собой Пифия; и для поклонников Сары собственные сердечные дела значили куда больше любых установлений дружбы — поэтому оба продолжали неотлучно стоять возле ее дома, искоса поглядывая друг на друга. Несомненно, эта ситуация причиняла Саре некоторое неудобство, и хотя столь неумеренное

восхищение весьма льстило ее тщеславию, тем не менее временами чрезмерная настойчивость воздыхателей начинала ее раздражать. В такие минуты единственным утешением ей служило то, что в глазах других девушек, следовавших мимо и замечавших двойную стражу около ее двери, читалась ревность, которая переполняла их сердца и которую не могли скрыть их принужденные улыбки. Мать ее, натура приземленная и корыстолюбивая, глядя на происходящее, неустанно и без обиняков внушала дочери, что надо устроить дело так, чтобы получить от каждого из мужчин максимальную выгоду. При этом сама она предусмотрительно воздерживалась от общения с ухажерами Сары, втихомолку наблюдая за ходом событий. Поначалу дочь сердилась на нее за эти низкие замыслы, но в конце концов по природной слабости характера, как обычно, уступила настойчивым уговорам матери и к тому моменту, когда пришла пора сделать выбор, безропотно согласилась с ее планом. И потому она не удивилась, когда мать шепнула ей во дворике позади дома:

— Поди-ка прогуляйся на гору; я хочу поговорить с этими двумя. Они оба без ума от тебя, и теперь самое время уладить дело!

Сара попыталась было робко возразить, но мать тут же оборвала ее:

— Слушай, девочка, я уже все решила! Эти двое сохнут по тебе, но достанешься ты лишь одному, и, прежде чем ты его выберешь, нужно устроить так, чтобы ты заполучила все, что есть у них обоих! И не спорь со мной, дочка! Иди прогуляйся, а когда воротишься, дело будет сделано — я знаю способ легко все провернуть!

Итак, Сара отправилась гулять по узким тропкам между золотистыми кустами дрока, покрывавшими склоны горы, а миссис Трефьюзис присоединилась к мужчинам, которые ожидали в гостиной маленького домика.

С безоглядной смелостью, которая свойственна всем матерям, думающим о благополучии своих детей (и подчас готовым применить ради этого не самые достойные средства), она сразу пошла в наступление:

— Вы оба влюблены в мою Сару.

Визитеры сконфуженно молчали, подтверждая этим справедливость ее прямолинейного утверждения, и миссис Трефьюзис продолжила:

— Ни один из вас не обладает значительным состоянием.

И опять они не решились оспорить ее слова,

оставив свои возражения при себе.

— Не уверена, что кто-то из вас двоих способен содержать жену!

Хотя оба по-прежнему молчали, на сей раз их взгляды и позы выражали явное несогласие.

Миссис Трефьюзис меж тем развила свою мысль:

— Но если вы сложите вместе все, что есть у обоих, один из вас сможет жить в достатке… вместе с Сарой!

Она произнесла это, хитро сощурив глаза и испытующе глядя на собеседников; затем, удостоверившись, что ее соображение не встречено в штыки, торопливо продолжила, словно стремясь не дать мужчинам времени возразить ей:

— Вы оба нравитесь моей девочке, и, наверное, ей трудно сделать выбор. Почему бы вам не бросить жребий? Сперва соедините ваши деньги — я уверена, у каждого из вас есть кое-что за душой. Тот, кому выпадет удача, заберет выигрыш и пустит его в дело, отправившись в плавание на торговом судне, а потом, разбогатев, воротится домой и женится на Саре. Полагаю, вы не боитесь? И ни один из вас не откажется сделать это ради той, которую вы оба, если верить вашим словам, любите?

Абель первым решился нарушить молчание:

— По мне, нехорошо решать судьбу девушки посредством жребия! Ей бы такое не понравилось, да и выглядит это… непочтительно по отношению к ней…

Эрик, сознававший, что, пожелай Сара выбирать между ними сама, у него было бы меньше шансов на победу, чем у Абеля, перебил соперника:

— Что, боишься рискнуть?

— Я — ничуть! — с вызовом ответил Абель.

Миссис Трефьюзис, видя, что ее замысел начинает претворяться в жизнь, не замедлила развить успех:

— Стало быть, решено: вы соединяете свои сбережения ради будущего благополучия Сары, независимо от того, доверите ли вы выбор ей самой или положитесь на жребий?

— Да, — быстро сказал Эрик, и Абель столь же решительно выразил согласие.

Маленькие хитрые глазки миссис Трефьюзис сверкнули. Заслышав снаружи шаги Сары, она подвела черту под состоявшейся беседой:

— Что ж, вот и она. Решение за ней.

С этими словами мать девушки покинула гостиную.

Во время недолгой прогулки на гору Сара в очередной раз попыталась сделать выбор. Она уже почти что злилась на своих ухажеров, которые явились причиной ее затруднения, и, едва войдя в комнату, коротко бросила им:

— Мне нужно поговорить с вами обоими… Пойдемте на Флагшток, там нас никто не потревожит.

Она взяла шляпку, вышла из дома и направилась по извилистой дорожке, что вела к крутой скале, увенчанной высоким Флагштоком; на нем в старину зажигали ложные огни в факельных корзинах грабители, подстраивая крушения приближавшихся к побережью судов. Скала эта была частью северного входа в маленькую гавань Пенкасла. По узкой дорожке идти бок о бок можно было только вдвоем, и, повинуясь какому-то молчаливому уговору, Сара шагала впереди, а двое мужчин следовали за ней, нога в ногу и плечом к плечу, — картина, наглядно отображавшая отношения, которые сложились к этому моменту в их треугольнике. Сердца соперников кипели от ревности. Достигнув вершины скалы, Сара остановилась у флагштока, а молодые люди — напротив нее. Она намеренно выбрала место, где никто не смог бы стать рядом с нею. Некоторое

время все трое молчали; затем Сара засмеялась и сказала:

— Я обещала вам обоим, что дам ответ сегодня. Я все думала, думала, думала, пока не начала злиться на вас за то, что вы заставили меня так терзаться. Но даже сейчас я ничуть не ближе к решению, чем раньше.

— Позволь нам кинуть жребий, любимая! — неожиданно произнес Эрик.

Сару нисколько не возмутила его просьба; благодаря постоянным намекам матери она была внутренне готова к чему-то подобному, а собственное слабоволие побуждало ее ухватиться за какой угодно выход из затруднительного положения. Девушка стояла, потупив взор и теребя рукав платья, и всем своим видом давала понять, что она согласна на предложение Эрика. Мужчины интуитивно поняли это, и каждый, вынув из кармана монетку, подбросил ее в воздух, поймал на ладонь и накрыл ладонью другой руки. Несколько секунд они не двигались и не говорили ни слова; затем Абель, более рассудительный из них двоих, спросил:

— Сара, хорошо ли это?

И, сказав так, он убрал руку, скрывавшую монетку, а монетку положил обратно в карман, чем

вызвал у Сары вспышку раздражения.

— Хорошо ли, плохо ли — меня это устраивает! — воскликнула она. — А ты волен решать, устраивает это тебя или нет.

— Нет, любимая! — поспешно отвечал Абель. — Я готов участвовать во всем, что касается твоей судьбы. Я забочусь лишь о том, чтобы ты спустя время не испытала из-за этого боль или разочарование. Если ты любишь Эрика больше, чем меня, то, во имя Господа, так и скажи, и я полагаю, мне достанет мужества отойти в сторону. Равным образом, если ты любишь меня, не делай нас несчастными на всю оставшуюся жизнь!

Столкнувшись с дилеммой, Сара дала выход своему безволию: она уткнулась лицом в ладони и заплакала, повторяя:

— Это все моя мать! Это она мне внушает!

Тишину, которая пришла на смену ее всхлипываниям, нарушил Эрик, запальчиво заявивший Абелю:

— Почему бы тебе не оставить ее в покое? Если ей нравится такой способ выбора — быть по сему! Мне он подходит — да и тебе тоже! Она уже согласилась на жребий — и с этим нужно смириться!

Но тут Сара неожиданно повернулась к нему и гневно крикнула:

— Придержи язык! Тебе-то какое дело? — после чего снова расплакалась.

Эрик был настолько обескуражен, что не смог больше вымолвить ни слова, а застыл на месте с крайне глупым видом, разинув рот и вытянув вперед руки, в которых он все еще держал монетку. Вновь воцарилось молчание. Наконец Сара, отняв от лица руки, разразилась истерическим смехом и сказала:

— Раз вы оба не можете ничего решить, я отправляюсь домой!

И она повернулась, чтобы уйти прочь.

— Стой! — повелительно окликнул ее Абель. — Эрик, держи монетку, а я загадаю. Но прежде, чем сделать это, давайте договоримся: тот, кто выигрывает, забирает все деньги, которые есть у нас обоих, едет с ними в Бристоль, садится на корабль и отправляется торговать. Затем возвращается и женится на Саре, и они вместе распоряжаются всем тем, что он заработал за время странствия. Речь идет об этом?

— Да, — подтвердил Эрик.

— И я стану его женой в мой следующий день рождения, — добавила Сара, но, как будто пораженная нестерпимо торгашеской манерой собственного поведения, тут же густо покраснела

и отвернулась. В глазах обоих мужчин, казалось, сверкнули огоньки.

— Стало быть, год! — произнес Эрик. — У того, кто выиграет, будет один год в запасе.

— Бросай! — крикнул Абель, и монетка взлетела в воздух. Эрик, выбросив вперед руки, поймал ее и зажал между ладонями.

— Орел! — весь побледнев, воскликнул Абель. Он склонился к рукам Эрика, желая узнать, что выпало, Сара склонилась тоже, и головы их почти соприкоснулись. Абель почувствовал, как ее локон легко скользнул вдоль его щеки, и по жилам его пробежал огонь. Эрик открыл ладонь: монетка лежала гербом вверх. Абель шагнул к Саре и заключил ее в объятия. Эрик, чертыхнувшись, зашвырнул монету далеко в море. Потом привалился спиной к флагштоку и, засунув руки в карманы, хмуро воззрился на влюбленную пару. Абель сбивчиво шептал Саре на ушко слова, полные страсти и неги, и, слыша их, она начала склоняться к мысли, что судьба верно истолковала тайные желания ее сердца и что она и впрямь любит Абеля больше, чем Эрика.

Через некоторое время Абель поднял голову и окинул взглядом фигуру у флагштока. Последние лучи заходящего солнца лишь подчеркивали

природный румянец Эрика, и казалось, что лицо его залито кровью. Абеля не слишком встревожил хмурый вид недавнего соперника — теперь, когда его собственные волнения остались позади, он вдруг ощутил неподдельную жалость к своему другу. Он шагнул вперед и, желая утешить Эрика, протянул ему руку.

— Мне просто повезло, старина, — сказал он. — Не злись на меня. Я постараюсь сделать Сару счастливой, а ты станешь братом нам обоим!

— Будь ты проклят, брат! — коротко бросил Эрик и пошел было прочь, но, сделав несколько шагов по каменистой дорожке, развернулся и направился обратно. Остановившись перед Абелем и Сарой, которые стояли обнявшись, он произнес: — У тебя есть год. Используй его по полной! И разумеется, тебе нужно будет вернуться вовремя, чтобы заявить свои права на Сару! Для того, чтобы жениться на ней одиннадцатого апреля, ты должен успеть к оглашению брака. Имей в виду: если в церкви в должный срок не прозвучит твое имя, то прозвучит мое, и тогда ты, считай, опоздал!

— Что ты хочешь этим сказать, Эрик? Ты сошел с ума!

— Не больше, чем ты, Абель Бегенна! Ты уезжа-

ешь — и это твой шанс! Я остаюсь — и это мой шанс! Я не собираюсь ждать у моря погоды. Пять минут назад Сара была увлечена тобой не больше, чем мной, и через пять минут после твоего отъезда ее чувства снова могут перемениться! Ты выиграл лишь этот раунд — но игра еще не окончена!

— Игра окончена! — отрезал Абель. — Сара, ты будешь верна мне? Ты не выйдешь замуж до моего возвращения?

— В течение года! — быстро добавил Эрик. — Таков уговор.

— Я обещаю ждать год, — сказала Сара.

Абель помрачнел, хотел было что-то сказать, но сдержался и улыбнулся.

— Мне не стоит сегодня быть чересчур настойчивым или злиться! Ну же, Эрик! Мы ухаживали, соперничая друг с другом! Я победил честно, ты знаешь это не хуже меня. И теперь, когда я уезжаю, я рассчитываю, что мой старый верный друг поможет мне, пока я буду отсутствовать.

— Я не стану тебе помогать, — отозвался Эрик, — и да поможет мне Бог!

— Бог помог мне, — кротко произнес Абель.

— Тогда пусть Он и дальше тебе помогает, — воскликнул в сердцах Эрик, — а мне достаточно

и помощи дьявола!

И, не сказав больше ни слова, он устремился вниз по крутой дорожке, что вела на скалу, и вскоре скрылся за каменистым выступом.

По его уходе Абель уже предвкушал нежные минуты воркования с Сарой, но первая же ее реплика охладила пыл влюбленного:

— Каким унылым кажется все вокруг без Эрика!

Эти слова звучали в его сознании все время, пока он провожал ее домой, — да и после тоже.

Утром следующего дня Абель услышал неясный шум возле входной двери и, выглянув наружу, увидел Эрика, который быстро удалялся прочь. У порога лежал небольшой холщовый мешок, набитый золотом и серебром, на приколотом к нему клочке бумаги было написано:

«Бери деньги и уезжай. Я остаюсь. Бог — за тебя, дьявол — за меня! Помни про 11 апреля. *Эрик Сансон*».

В тот же день Абель отправился в Бристоль, а спустя неделю взошел на борт судна «Морская звезда», отплывавшего к берегам Паханга. На все свои деньги, включая долю, полученную от Эрика, он накупил дешевых безделушек. Сделать это ему посоветовал его знакомый, бывалый

старый моряк из Бристоля, который был сведущ в обычаях жителей Малаккского полуострова и утверждал, что каждое вложенное пенни принесет шиллинг прибыли.

По мере того как проходили месяцы, Сару все сильнее одолевало беспокойство. Эрик всегда был рядом и продолжал искусно и настойчиво обхаживать ее, она же отнюдь этому не противилась. От Абеля пришло всего лишь одно письмо, в котором он извещал, что его предприятие оказалось весьма успешным, что он уже выслал около двухсот фунтов в бристольский банк и теперь собирается сбыть оставшиеся товары стоимостью пятьдесят фунтов в Китае, куда держит курс «Морская звезда» и откуда она потом должна вернуться в Бристоль. Абель также писал, что предполагает вернуть Эрику его деньги и ту долю прибыли, которую на них выручит. Узнав об этом намерении, мать Сары сочла его глупым ребячеством, а Эрик впал в ярость.

С той поры миновало более полугода, а новых писем все не было, и надежды Эрика, низринутые посланием из Паханга, опять начали обретать силу. Он беспрестанно донимал Сару всевозможными «если». Если Абель не вернется, выйдет ли она за него — Эрика — замуж? Если наступит

одиннадцатое апреля, а корабль Абеля не появится в гавани, порвет ли она с ним? Если Абель решил оставить заработанное себе и в довершение всего женился на другой, пойдет ли Сара под венец с Эриком, как только правда выплывет наружу? И так далее, с бесконечным множеством возможных вариаций. Постепенно сила воли и целеустремленность обнаружили несомненное превосходство над слабой женской натурой. Сара мало-помалу разуверялась в том, что Абелю суждено стать ее мужем, и начала исподволь примерять на эту роль Эрика; а тот, кого женщина воспринимает подобным образом, отличается в ее глазах от всех прочих мужчин. В сердце ее вновь пробудилось чувство к нему, а ежедневные встречи и близость в рамках дозволенного лишь усиливали эту растущую склонность. В Абеле же Сара теперь видела скорее препятствие на пути к своему счастью и постаралась бы навсегда забыть о самом его существовании, если бы мать не напоминала ей постоянно о том, что ее счастье уже лежит в бристольском банке.

Одиннадцатое апреля приходилось на субботу, и, чтобы сыграть свадьбу в этот день, нужно было объявить о ней в церкви в воскресенье двадцать второго марта. С первых же дней месяца

Эрик только и делал, что говорил об отсутствии Абеля, который, дескать, скорее всего, был уже либо мертв, либо женат, и Сара понемногу проникалась убедительностью этих речей. Когда миновали две недели, Эрик расцвел и пятнадцатого марта по выходе из церкви пригласил возлюбленную прогуляться к Флагштоку. Там, на вершине скалы, он перешел в решительное наступление:

— Я говорил Абелю и тебе: если он не успеет в должный срок объявить, что его свадьба состоится одиннадцатого апреля, я объявлю, что моя состоится двенадцатого. И вот пришло время, когда я готов это сделать. Он не держит слова…

Тут Сара поборола нерешительность и воскликнула:

— Но он еще его не нарушил!

Эрик гневно скрипнул зубами.

— Если ты хочешь защищать его, — сказал он, в ярости ударив по Флагштоку, который гулко завибрировал в ответ, — что ж, прекрасно! Я же буду следовать уговору. Через неделю я объявлю о своих намерениях в церкви, а ты вольна заявить о своем отказе. Если одиннадцатого апреля Абель вернется в Пенкасл, он сможет аннулировать мое объявление и взамен сделать свое, но до тех пор

я буду держаться принятого решения — и горе тому, кто встанет у меня на пути!

С этими словами Эрик бросился вниз по каменистой дорожке, а Саре не оставалось ничего иного, как восхищаться силой и удалью потомка викингов, покуда он удалялся вдоль береговых утесов в сторону Бьюда.

За неделю вестей от Абеля так и не пришло, и в субботу Эрик объявил в церкви о своем намерении взять в жены Сару Трефьюзис. Священник хотел было отговорить его, так как, несмотря на отсутствие каких-либо официальных извещений, вся округа с момента отъезда Абеля знала, что тот, вернувшись, собирается жениться на Саре; но Эрик отказался обсуждать этот вопрос.

— Это щекотливая тема, — произнес он с твердостью, сильно впечатлившей священника, который был очень молодым человеком. — Поистине, ничто не препятствует моему браку с Сарой. Какие же тут могут быть возражения?

Священник не сказал больше ни слова. Когда на другой день он впервые огласил перед прихожанами имена жениха и невесты, по толпе собравшихся в церкви пронесся гул недовольства. Вопреки обычаю Сара тоже присутствовала на церемонии и, несмотря на румянец негодования

на ее щеках, втайне испытывала чувство превосходства над теми девушками, которым пока не выпала подобная честь. Еще до конца недели она принялась шить подвенечное платье. Эрик часто приходил посмотреть на нее за работой, и это зрелище вызывало у него восторженный трепет.

В такие мгновения он говорил ей множество нежных слов, за которыми следовали упоительные минуты любовных ласк.

Двадцать девятого марта их имена были вторично оглашены в церкви, и надежда Эрика выросла и укрепилась еще больше; но временами, когда он чувствовал, что судьба может в любой момент раз и навсегда отвести чашу счастья от его уст, на него находили острые приступы отчаяния. Тогда его охватывало бешенство — безрассудное, беспощадное — и он так неистово скрежетал зубами и сжимал кулаки, словно былая ярость его предков-берсеркеров все еще бродила в его крови. В четверг, заглянув к Саре, Эрик застал ее в озаренной солнцем комнате, с белоснежным свадебным платьем в руках — уже почти готовым. Сердце его переполняла радость, а при виде девушки, которая вскоре будет всецело принадлежать ему, он ощутил невыразимое блаженство и погрузился в какую-то сладкую

истому. Склонившись, он поцеловал невесту в губы и прошептал ей в розовое ушко:

— Твое свадебное платье, Сара! И оно — для меня!

Когда Эрик отступил на шаг, чтобы еще раз окинуть ее восхищенным взором, она игриво глянула на него и сказала:

— А может, и не для тебя. У Абеля в запасе еще больше недели!

В следующий миг она вскрикнула в смятении, ибо Эрик, неистово размахивая руками и изрыгая проклятия, выбежал из дома и с грохотом захлопнул за собой дверь. Этот случай лишил Сару покоя, разбудив ее прежние страхи и сомнения. Она всплакнула, потом отложила платье и направилась к Флагштоку, чтобы посидеть в одиночестве на скале и немного успокоиться. Добравшись до вершины, она обнаружила там небольшую группу людей, встревоженно обсуждавших погоду. Море было спокойным, и солнце сияло вовсю, но по водной глади пробегали какие-то странные полосы, темные и светлые, а вокруг прибрежных камней виднелись хлопья пены, которые приливное течение свивало в большие белые кольца. Ветер переменился и начал задувать холодными, пронизывающими порывами.

Из промоины, что тянулась под скалой Флагшток от каменистой бухты до самой гавани, временами доносился раскатистый гул, а у входа в нее, непрестанно крича, кружили чайки.

— Плохо дело, — услышала Сара слова старого рыбака, который разговаривал с человеком из береговой охраны. — Я только раз видел такое — когда «Коромандель», посудину, принадлежавшую Ост-Индской компании, разнесло в щепки в заливе Диззард.

Дальше Сара слушать не стала. Опасности страшили ее, и она терпеть не могла рассказов о кораблекрушениях и стихийных бедствиях. Девушка вернулась домой и снова занялась платьем, втайне решив, как только встретится с Эриком, задобрить его, извиниться — и при первом же удобном случае поквитаться с ним после свадьбы.

Пророчество старого рыбака насчет погоды оказалось верным. Вечером, как стемнело, разыгрался сильнейший шторм. Море дыбилось и хлестало по всему западному побережью Великобритании — от острова Скай до архипелага Силли, — везде оставляя за собой разрушение. Моряки и рыбаки Пенкасла как один высыпали на скалы и утесы и взволнованно наблюдали за

происходящим. Внезапно при вспышке молнии среди волн показался небольшой двухмачтовый корабль, дрейфовавший под одним лишь кливером в полумиле от гавани. Все глаза и все бинокли устремились на него в ожидании следующей вспышки, и, когда молния вновь сверкнула, толпа на берегу вскрикнула хором: «„Красотка Элис“!» Это было торговое судно, которое курсировало между Бристолем и Пензансом, заходя во все маленькие порты, лежавшие на пути его следования.

— Да поможет им Бог! — воскликнул комендант порта. — Ибо ничто другое в этом мире не спасет их, коли им довелось оказаться между Бьюдом и Тинтаджелом, когда ветер дует с моря!

Береговая охрана, проявив смелость и усердие, сумела поднять на вершину скалы Флагшток устройство для запуска ракет и подать сигнал — синие огни, чтобы людям на судне, если они еще не потеряли надежду пристать к берегу, удалось разглядеть место входа в бухту. Команда на борту предпринимала все меры к спасению — но ни сила, ни сноровка человека помочь уже не могли. В течение нескольких минут «Красотка Элис» встретила свой конец, налетев на крупную одиночную скалу, защищавшую гавань со

стороны моря. Рев шторма сливался с криками моряков, которые в последней попытке уцелеть прыгали в воду. Синие огни продолжали гореть, люди на берегу напряженно всматривались в пучину, ожидая, что среди волн мелькнет чье-нибудь лицо, и держа наготове спасательные веревки. Но ни единого лица не показалось на поверхности, и руки, готовые прийти на помощь, остались без дела.

В толпе, собравшейся на берегу, был и Эрик. Его древнеисландские корни никогда еще не давали знать о себе так явственно, как в этот тревожный час. Он схватил веревку и прокричал в самое ухо коменданту порта:

— Я спущусь вниз по скале к тюленьей пещере. Поднимается прилив, и кого-то может затянуть туда!

— Остановитесь! — последовал ответ. — Вы с ума сошли? Стоит вам раз оступиться — и вы пропали: никто не сумеет удержаться там в темноте, да еще во время шторма!

— Это не так, — возразил Эрик. — Вспомните, как Абель Бегенна спас меня в такую же ночь, когда моя лодка следовала к Галл-Року. Он вытащил меня из глубоких вод пещеры — а сейчас, быть может, туда затянуло кого-то еще.

И, сказав это, Эрик скрылся во мраке. Скальный выступ закрывал свет, шедший с Флагштока, но он знал дорогу слишком хорошо, чтобы заблудиться. Благодаря смелости и твердости шага он вскоре уже стоял на большом кругловерхом камне, подточенном снизу волнами, над входом в тюленью пещеру, где вода была необычайно глубока. Здесь Эрик находился в относительной безопасности, поскольку валун, формой напоминавший ложку, успешно отражал удары волн, и, хотя внизу все бурлило, словно в кипящем котле, сверху было практически спокойно. К тому же скала приглушала рев шторма, и Эрик мог не только всматриваться, но и вслушиваться. И вот, когда он стоял начеку, держа в руке моток веревки, приготовленной для броска, ему вдруг почудилось, что снизу, помимо гула водоворота, донесся слабый, полный отчаяния крик. В ответ Эрик издал громкий возглас, прорезавший ночную тьму, а затем, дождавшись очередной вспышки молнии, кинул один конец веревки во мрак, туда, где посреди вихрившейся пены только что на миг показалось лицо человека. Веревка натянулась, и он, догадавшись, что ее поймали, вновь закричал во всю мощь своих легких:

— Обвяжись ею вокруг пояса, и я тебя вытащу!

Затем, рассудив, что его призыв услышан, Эрик вместе с веревкой переместился по валуну к дальней стене пещеры, у которой вода, протекавшая внизу, была менее бурной, встал понадежнее и приготовился вытаскивать тонущего на край своего каменного пьедестала. Он принялся тянуть и вскоре, выбрав значительную часть веревки, понял, что человек, которого он спасает, вероятно, находится уже совсем близко к верхушке камня. С мгновение Эрик помедлил, чтобы собраться с силами, и сделал глубокий вдох для последнего рывка. Он уже склонился к выступавшему краю валуна, когда новая вспышка молнии выхватила из темноты лица обоих мужчин — спасателя и спасаемого.

Эрик Сансон и Абель Бегенна оказались друг против друга — и никто, кроме них самих и Господа Бога, не знал об этой встрече.

Все чувства разом всколыхнулись в душе Эрика. Его надежды были разбиты, в его взгляде зажглась ненависть Каина. Он успел заметить на лице Абеля радость оттого, что именно Эрику, его ближайшему другу, довелось прийти к нему на помощь; эта радость лишь подогрела злобу Эрика, и, охваченный ею, он отступил назад и позволил веревке выскользнуть из его рук. Вспышка нена-

висти сменилась приливом раскаяния, но было уже поздно.

Не успел он опомниться, как Абель, путаясь в веревке, которая должна была спасти его, с воплем отчаяния опять погрузился в жадные темные морские воды.

Ощущая на себе Каинову печать и словно обезумев, Эрик ринулся назад; он карабкался вверх по камням, не думая об опасности и мечтая только об одном — вновь очутиться среди людей, чьи голоса могли бы заглушить тот последний крик, что, казалось, еще продолжал звенеть у него в ушах. Когда он достиг вершины Флагштока, его обступили со всех сторон, и сквозь яростный рев стихии до него донеслись слова коменданта порта:

— Мы опасались, что потеряли вас навсегда, когда услышали крик! Как вы бледны! Где ваша веревка? Там, в воде, был кто-нибудь?

— Никого! — крикнул Эрик в ответ, ибо чувствовал: он никогда никому не сможет признаться, что позволил своему старому другу соскользнуть в море в том же месте и при тех же обстоятельствах, при которых тот ранее спас его самого. Он надеялся, что, единожды бесстыдно солгав, раз и навсегда положит конец этой истории. Свиде-

телей не было, и если уж ему суждено остаток жизни мысленно видеть перед собой то застывшее бледное лицо и слышать тот отчаянный вопль, — что ж, по крайней мере, никто другой об этом не узнает. — Никого! — повторил он еще громче. — Я просто поскользнулся на камне и уронил веревку в море!

Сказав это, он поспешил выбраться из толпы, стремительно ринулся вниз по крутой дорожке, добрался до дому и затворился внутри.

Остаток ночи он провел, лежа в одежде на кровати, не шевелясь и уставившись в потолок. Сквозь тьму он видел бледное мокрое лицо, блестевшее в свете молний, лицо, на котором радость узнавания сменяется беспредельным отчаянием, и слышал несмолкающий вопль, проникавший ему в самое сердце.

К утру шторм прекратился и все вокруг обрело прежний, приятный взору облик, только море все еще шумело, давая выход остаткам своей ярости. Наиболее крупные обломки разбившегося судна течение отнесло в гавань, а вода вокруг одиноко вздымавшейся скалы была усеяна фрагментами помельче. Кроме того, в бухту прибило волнами два трупа — капитана и какого-то моряка, которого никто в Пенкасле не знал.

Эрик навестил Сару только под вечер, да и тогда задержался лишь на минутку. Заходить в дом он не стал, а просто заглянул в открытое окно.

— Ну, Сара, — нарочито громко произнес он, и она уловила в его голосе фальшивые нотки, — готово ли подвенечное платье? Не забудь, в воскресенье! В воскресенье!

Сара обрадовалась столь легкому примирению; но, увидев, что буря миновала и страхи ее были безосновательны, она совершенно по-женски не преминула вновь поддеть Эрика тем же манером.

— В воскресенье так в воскресенье, — отозвалась она, не поднимая головы. — Если только в субботу не вернется Абель.

Затем, несмотря на затаенный страх, что ее импульсивный ухажер опять может разгневаться, она бросила лукавый взгляд на окно — но там уже никого не было: Эрик ушел, и Сара, надув губки, вернулась к работе.

Они встретились только в воскресенье, в середине дня, когда после третьего оглашения в церкви их имен Эрик приблизился к невесте с видом собственника, вызвавшим у нее одновременно удовольствие и досаду.

— Не торопитесь, сударь! — сказала она, от-

талкивая его под дружное хихиканье остальных девушек. — Будьте добры дождаться следующего воскресенья. — И, окинув Эрика насмешливым взглядом, добавила: — Это день, который приходит на смену субботе.

Девушки снова захихикали, а молодые люди разразились грубым хохотом. Эрик сильно побледнел и отвернулся, — как подумали окружающие, уязвленный их пренебрежением. Но Сара, знавшая больше, чем они, засмеялась, поскольку заметила торжество, которое промелькнуло у него в глазах, несмотря на гримасу обиды, исказившую его лицо.

Бóльшую часть недели ничего не происходило; однако с приближением субботы Сару начала то и дело охватывать тревога, Эрик же в вечерние часы принимался бесцельно бродить взад-вперед, точно одержимый. На людях он смирял себя, но порой удалялся к скалам и пещерам и оглашал их громкими криками. Это его как будто немного успокаивало — на некоторое время. В субботу он весь день оставался дома. Соседи, зная, что он завтра женится, сочли это проявлением предсвадебной робости и не стали его беспокоить. Лишь однажды его уединение оказалось нарушено: к нему заглянул лодочник.

— Эрик, — заговорил он, немного помолчав, — вчера я был в Бристоле. Заказывал у канатчика новую веревку взамен той, что ты потерял ночью во время шторма. Так вот, у него я встретил Майкла Хевенса, тамошнего торговца. По его словам, неделю назад на «Морской звезде» из Кантона воротился Абель Бегенна и положил в бристольский банк уйму денег на имя Сары Бегенна. Абель сам рассказал об этом Майклу — и добавил, что собирается отплыть в Пенкасл на борту «Красотки Элис»… Держись, дружище! — воскликнул он, когда Эрик, застонав, закрыл руками лицо и уронил голову на колени. — Он был твоим старинным товарищем, я знаю, но ты не мог ему помочь. Должно быть, той ужасной ночью он отправился на дно вместе со всеми, кто был на судне. Я подумал, тебе лучше услышать об этом от меня, чем от кого-то другого, и ты сможешь донести эту весть до Сары Трефьюзис так, чтобы не напугать ее. Они ведь когда-то дружили, а женщины всегда принимают близко к сердцу такие вещи. Только не стоит сообщать ей прямо сейчас — не годится, чтобы она терзалась из-за этого в день своего венчания!

Затем лодочник поднялся и ушел, а Эрик остался сидеть, безутешно уткнувшись головой в

колени.

— Вот бедняга! — бормотал на ходу лодочник. — Эта новость просто сразила его. Что ж, оно и понятно! Они были настоящими друзьями, и Абель спас ему жизнь!

В тот день, высыпав гурьбой из школы, детвора, как всегда по субботам, принялась носиться вдоль причала и по тропинкам, пролегавшим среди прибрежных утесов. Вскоре ватага сорванцов, до крайности взволнованных, прибежала в гавань, где несколько рабочих разгружали судно с углем под присмотром большой толпы зевак. Один из мальчишек закричал:

— У входа в гавань плавает дельфин! Мы видели, как он вынырнул из промоины под скалой! У него длинный хвост, и он плыл на глубине!

— Это был не дельфин, а тюлень, — вмешался другой. — Но хвост у него и правда длинный! Он выплыл из тюленьей пещеры!

Остальные мальчишки утверждали каждый свое, но все сходились на том, что «это», чем бы оно ни было, выплыло из промоины глубоко под водой и имело длинный тонкий хвост, конец которого они даже не смогли разглядеть. Последнее обстоятельство породило множество немилосердных насмешек со стороны взрос-

лых; однако дети и впрямь явно что-то видели, и потому внушительная толпа людей разного пола и возраста направилась по тропинкам к противоположной оконечности гавани, желая бросить взгляд на неведомый образчик морской фауны — длиннохвостого дельфина или тюленя. На море начинался прилив. Дул легкий бриз, поверхность воды была подернута рябью, поэтому различить что-либо на глубине удавалось лишь в редкие мгновения. Через некоторое время одна женщина крикнула, что заметила, как нечто двигалось по проливу прямо под тем местом, где она стояла. Все тотчас устремились к ней, но, пока они добирались до места, ветер посвежел и разглядеть хоть что-то сквозь зыбь на воде стало невозможно. В ответ на расспросы женщина попыталась описать то, что видела, но в ее сбивчивом и путаном рассказе не нашли ничего, кроме игры воображения; если бы не свидетельства мальчишек, ее вообще не стали бы слушать. К ее истеричному заявлению, что это было «нечто вроде свиньи с выпущенными кишками», всерьез отнесся только старик из береговой охраны, который качал головой, но не говорил ни слова. Весь остаток дня, пока не стемнело, он провел на берегу, всматриваясь в воду, однако с лица его не

сходило разочарованное выражение.

Утром следующего дня Эрик поднялся рано — он не спал всю ночь, и рассвет принес ему облегчение. Он побрился твердой рукой и облачился в свадебный костюм. Лицо его осунулось, за несколько дней он, казалось, постарел на годы. И все же глаза его светились неистовым торжеством, а губы непрестанно шептали:

— Сегодня день моей свадьбы! Абель уже не сможет заявить свои права на нее… живой или мертвый! Живой или мертвый! Живой или мертвый!

Эрик уселся в кресло и с жутким спокойствием стал ждать того часа, когда нужно будет идти в церковь. Едва заслышав звон колокола, он встал и вышел из дому, плотно притворив за собой входную дверь. Бросив взгляд на реку, он увидел, что прилив только что прекратился. В церкви Эрик сидел рядом с Сарой и ее матерью и крепко сжимал руку невесты, словно боялся ее потерять. По окончании службы жених и невеста поднялись со своих мест, и в присутствии прихожан (ибо никто не покинул церковь) был совершен обряд бракосочетания. На вопрос священника оба ответили уверенно — а Эрик даже с вызовом. После церемонии Сара взяла мужа под руку, и

они направились к выходу, а взрослые надавали шлепков своим чадам за то, что озорники норовили пристроиться за молодоженами, наступая на шлейф подвенечного платья.

Дорога, что вела из церкви, пролегала позади дома, где жил Эрик; от дома ближайшего соседа его жилище отделяла лишь узкая тропка. Молодая чета проследовала по ней, и затем прихожан, которые шли немного позади, всполошил протяжный и пронзительный крик новобрачной. Толпа устремилась вперед и обнаружила, что Сара с безумным взором стоит на берегу реки, указывая на участок речного русла, расположенный напротив входа в дом Эрика Сансона.

Там, застряв среди битых камней, лежало оставленное отливом тело Абеля Бегенны. Веревка, которой оно было опоясано, обвилась свободным концом вокруг причального столба и удержала труп на месте, когда уходила вода. Локоть правой руки угодил в щель между камнями, и теперь казалось, что эта рука, с обращенной вверх ладонью и бледными, поникшими пальцами, как будто тянется к Саре, готовясь встретить и сжать ее руку.

То, что происходило дальше, Сара Сансон запомнила очень смутно. Всякий раз, когда она

пыталась думать об этом, в ушах у нее начинало гудеть, а глаза заволакивало туманом, и все исчезало. Единственное, что она смогла воскресить в своей памяти — и чего никогда не забывала, — это тяжелое дыхание Эрика, который побледнел сильнее, чем лежавший среди камней мертвец, и его еле слышные слова:

— Помощь дьявола! Его вера! Его цена!

1893

Уильям Уаймарк Джейкобс
1863–1943



Обезьянья лапка
I

Снаружи был холодный и сырой вечер, а в зашторенной гостиной «Ракитника» ярко полыхал камин. Отец и сын играли в шахматы, и первый, поборник острой игры, так откровенно и глупо подставил своего короля, что не удержалась от замечания даже седоволосая мать семейства, мирно вязавшая у камелька.

— Ты гляди, какой ветер, — сказал мистер Уайт, поздно заметив свою оплошность и горячо желая, чтобы сын ее проглядел.

— Слышу, — сказал тот, зорко высматривая доску из-за протянутой руки. — Шах.

— Вряд ли он сегодня к нам выберется, — сказал отец, нерешительно перебирая над доской пальцами.

— Мат, — ответил сын.

— Хуже нет — жить на отшибе! — необъяснимо взорвался мистер Уайт. — Грязнее и сырее нашей дыры на всем свете не сыщешь. За порогом болото, на дороге потоп. Куда они смотрят?! Если жильцы только в двух домах, значит, можно о

них не думать?

— Успокойся, дорогой, — умиротворяюще сказала жена, — выиграешь в следующий раз.

Вскинув глаза, мистер Уайт перехватил понимающий взгляд, которым обменялись мать с сыном. Слова застыли у него на губах, и виноватая улыбка скользнула в редкую седую бороду.

— Вот и он, — отозвался Герберт Уайт на громкий стук калитки и тяжелые шаги под дверью.

По-хозяйски суетясь, отец пошел открыть дверь, и было слышно, как он сочувствует гостю. Гость и сам себе сочувствовал, а миссис Уайт поцокала языком и раз-другой кашлянула, когда в комнату вошел муж и следом высокий статный мужчина с глазами-бусинками и румянцем во всю щеку.

— Сержант Моррис, — представил его муж.

Сержант пожал им руки, занял предложенное место у камина и удовлетворенно огляделся, а хозяин тем временем достал бутылку виски, стаканы и поставил на огонь маленький медный чайник.

После третьей порции глазки у сержанта заблестели, язык развязался, и хозяева завороженно внимали залетному гостю, а тот, расправив широкие плечи и удобно устроившись в кресле,

повествовал о диких местах и дерзких делах, о битвах, моровой язве и чужеземных народах.

— И этак протрубить двадцать один год, — кивнул на него жене и сыну мистер Уайт. — Уезжал мальцом на подхвате в таможне. А теперь — вон какой.

— По виду и не догадаешься, что всего натерпелись, — вежливо заметила миссис Уайт.

— Я бы и сам съездил в Индию, — сказал старик. — Хоть краешком глаза повидать жизнь.

— Дома лучше, — покачал головой сержант. Он опустил пустой стакан, чуть слышно вздохнул и снова покачал головой.

— Хоть повидать их древние храмы, факиров, фокусников, — сказал старик. — Про что вы в прошлый раз начали рассказывать, Моррис, — про обезьянью лапку вроде бы?

— Пустое, — отмахнулся солдат. — Ничего интересного.

— А что с ней, с этой лапкой? — живо спросила миссис Уайт.

— Да, пожалуй, самое обыкновенное волшебство, — брякнул сержант.

Все три шеи напряженно вытянулись. Гость рассеянно поднес к губам пустой стакан, опустил. Хозяин наполнил его.

— На вид, — сказал сержант, роясь в кармане, — лапка как лапка, только усохшая.

Он что-то вынул из кармана и протянул им. Миссис Уайт брезгливо отпрянула, а сын взял в руки и стал внимательно разглядывать.

— Что же в ней такого особенного? — спросил мистер Уайт, забирая ее у сына, и, насмотревшись, положил на стол.

— Один старый факир, очень святой человек, — сказал сержант, — ее заколдовал. Хотел доказать, что человеческой жизнью управляет судьба и кто толкает ее под руку, тому не поздоровится. Он ее так заколдовал, чтобы три человека загадали каждый по три желания.

В его словах было столько убеждающей силы, что смешок внимавших даже для них самих прозвучал неуверенно.

— Тогда что же вы не загадали свои три желания, сэр? — поддел его Герберт Уайт.

Солдат смерил его взглядом, каким зрелость удостаивает прыткую молодость.

— Я загадал, — спокойно ответил он, бледнея угреватым лицом.

— И все три исполнились? — спросила миссис Уайт.

— Все три, — сказал сержант, и его крепкие

зубы клацнули о стакан.

— А кто-нибудь еще загадывал? — пытала его хозяйка.

— Как же, первый загадал все три, — последовал ответ. — Не знаю, какие были сначала, а в третий раз он пожелал себе смерти. И лапка перешла ко мне.

Прозвучало это так мрачно, что в комнате повисла тишина.

— Если ваши три желания исполнились, то вам она уже без пользы, Моррис, — снова заговорил старик. — Чего ради вы ее держите?

Солдат покачал головой.

— Так, ради интереса, — молвил он. — Думал даже продать, только вряд ли решусь. Она уже порядочно зла натворила. Да и не купит никто. Одни считают, что все это сказки, другие если верят, то сначала хотят попробовать и уж потом выложить деньги.

— А будь у вас еще три желания, — сказал старик, пронзительно глядя на него, — вы бы захотели, чтобы они исполнились?

— Не знаю, — ответил тот. — Не знаю.

Взяв лапку двумя пальцами, он помотал ею в воздухе и вдруг швырнул в огонь. Охнув, Уайт сунулся в камин и вытащил ее.

— Бросьте, пусть сгорит, — сурово сказал солдат.

— Если вам она не нужна, Моррис, — ответил тот, — отдайте мне.

— Ни за что, — уперся его друг. — Я кинул ее в огонь. Если вы ее берете, то пеняйте на себя, я ни при чем. Будьте умником, отправьте ее обратно в огонь.

Тот помотал головой и внимательно осмотрел свое приобретение.

— Как вы это делаете? — спросил он.

— Возьмите в правую руку и назовите желание, — сказал сержант, — но я вас предостерег.

— Прямо «Тысяча и одна ночь», — сказала миссис Уайт, начиная накрывать к ужину. — Загадал бы ты мне четыре пары рук в подмогу.

Муж вынул талисман из кармана, и тут все трое расхохотались, потому что сержант, изменившись в лице, перехватил его руку.

— Если решитесь, — хрипло сказал он, — то загадайте что-нибудь разумное.

Мистер Уайт сунул лапку в карман, расставил стулья и жестом пригласил друга к столу.

За ужином про талисман не вспоминали, а после ужина вся троица завороженно слушала вторую часть солдатских приключений в Индии.

— Если про обезьянью лапку такая же сказка, как все, что он тут наплел, — сказал Герберт, когда за гостем, досидевшим до последнего поезда, захлопнулась дверь, — то от нее будет мало проку.

— Ты что-нибудь дал за нее, отец? — спросила миссис Уайт, пытливо взглянув на мужа.

— Сущую ерунду, — ответил тот, слегка розовея. — Он не хотел брать, но я настоял. Он опять велел выбросить ее.

— Ой, как страшно, — с притворным ужасом сказал Герберт. — Теперь нам не миновать богатства, славы и счастья. Знаешь, папа, для начала пожелай стать императором — хватит тебе быть подкаблучником.

И он побежал вокруг стола, спасаясь от оклеветанной миссис Уайт, потрясавшей салфеткой.

Мистер Уайт вынул из кармана лапку и с сомнением посмотрел на нее.

— Не знаю, право, что и загадать, — промолвил он. — Все у меня вроде бы есть.

— Для полноты счастья не хватает только расплатиться за дом, правда? — сказал Герберт, обняв его за плечи. — Вот и загадай двести фунтов, ведь за ними все дело.

Сконфуженно улыбаясь собственному легковерию, отец зажал талисман в руке, а сын

с торжественной миной, которую он подпортил, подмигнув матери, сел за пианино и взял несколько звучных аккордов.

— Я хочу двести фунтов, — отчетливо произнес старик.

Пианино бравурно отозвалось на эти слова, но отчаянный вопль старика покрыл все звуки. Жена с сыном кинулись к нему.

— Она шевельнулась! — крикнул старик, с омерзением глядя на упавшую лапку. — Когда я загадал желание, она дернулась в руке, точно змея.

— А денег-то нет, — заметил сын, подняв с пола талисман и кладя его на стол, — и не будет.

— Тебе показалось, отец, — сказала жена, глядя на него встревоженными глазами.

Тот покачал головой.

— Ничего, ничего, руки-ноги целы, хотя, ей-богу, она меня напугала до смерти.

Они вернулись к камину, и мужчины раскурили трубки. Снаружи крепчал ветер, и, когда наверху хлопнула дверь, старик вздрогнул. Непривычная, гнетущая тишина томила их, покуда старики не собрались спать.

— Наверное, деньги будут в мешке, а мешок под одеялом, — сказал Герберт, пожелав им спо-

койной ночи, — и какая-нибудь мерзость будет пялиться со шкапа на то, как вы прибираете к рукам нечестную добычу.

Старик сидел один в темноте, смотрел на гаснущий огонь и видел в нем разные рожицы. Вдруг возникла такая страшная, такая обезьянья рожа, что он обмер, пораженный. Она кривлялась, эта рожа, и он с нервным смешком ощупью поискал на столе стакан с водой, чтобы плеснуть на уголья. Его рука ухватила обезьянью лапку, и, судорожно вытерев руку о пиджак, он отправился спать.

II

При ярком свете зимнего солнца, струившего лучи на его завтрак, он посмеялся над своими страхами. Вещи обрели скучный положительный смысл, накануне ими утраченный, и грязную сморщенную лапку бросили на буфет неуважительно, безо всякой веры в ее могущество.

— Наверное, все старые вояки одинаковы, — сказала миссис Уайт. — Стыд подумать, что мы слушали эту чепуху. Когда они исполнялись, желания, в наши-то дни? А хоть бы и исполнялись — чем тебе могут навредить двести фунтов, отец?

— Свалятся с неба и оглоушат, — заметил легкомысленный Герберт.

— Моррис говорил, оно происходит само собой, — сказал отец, — так что при желании можно сослаться на стечение обстоятельств.

— В общем, до моего прихода к деньгам даже не прикасайся, — сказал Герберт, вставая из-за стола. — У меня есть опасения, что они превратят тебя в жалкого скупердяя и нам придется отказаться от такого родственника.

Рассмеявшись, мать проводила его до двери, посмотрела, как он вышел за калитку; вернувшись к столу, она втихомолку еще посмеялась над мужниным легковерием. Впрочем, это не помешало ей сорваться с места на стук почтальона и не удержало от энергичных слов по адресу выпивох-сержантов, когда выяснилось, что пришел счет от портного.

— Представляю, как повеселится Герберт, когда вернется с работы, — сказала она за обедом.

— Наверняка, — сказал мистер Уайт, наливая себе пива. — Только как хотите, а эта штука шевельнулась у меня в руке. Готов поклясться.

— Тебе показалось, — успокоила его жена.

— Говорю тебе, шевельнулась! — ответил он. — Чему тут казаться? Я взял… Что там?

Она не ответила. Странным показалось ей мельтешение человека на улице: нерешительно поглядывая на их дом, он словно бы намеревался войти. Не забыв еще о двухстах фунтах, она отметила, что он хорошо одет и на голове у него новехонький блестящий цилиндр. В четвертый раз он взялся за щеколду, постоял и, в приливе решимости нажав на нее, ступил на дорожку. В ту же минуту миссис Уайт сунула руки за спину, развязала тесемки передника и спрятала полезную домашнюю вещь под подушку, на которой сидела.

Незнакомец, которого она провела в комнату, был, что называется, не в своей тарелке. Он прятал глаза, вполуха слушал извинения за беспорядок в комнате и за мужнину куртку, в которой тот обычно работал в саду. С терпением, сколько его наберется у женщины, она ждала, чтобы он объяснил свое вторжение, но тот непонятно молчал.

— Мне… меня попросили зайти, — наконец заговорил он и, согнувшись, извлек из брючного кармана клочок бумаги. — Я из «Мо и Меггинса».

Хозяйка сорвалась со стула.

— Что случилось? — еле слышно спросила она. — Что-нибудь с Гербертом? Что там? Что?

В разговор вступил муж.

— Ну-ну-ну, мать, — зачастил он, — садись и не выдумывай. Вы, надеюсь, не с дурными вестями, сэр? — и посмотрел на того тоскливыми глазами.

— Не знаю, как… — начал гость.

— С ним несчастье? — задохнулась мать.

Гость кивнул.

— Большое несчастье, — сказал он тихим голосом, — но самое страшное для него позади.

— Слава богу! — вскричала мать, сложив руки. — Слава…

И осеклась, уяснив себе зловещий смысл оговорки и видя подтверждение худшему в отведенном взоре посетителя. Глубоко вздохнув, она повернулась к своему тугодуму-мужу и дрожащей старческой рукой накрыла его руку. Молчание длилось долго.

— Его затянуло в машину, — все так же тихо продолжал гость.

— Затянуло в машину, — обреченно повторил мистер Уайт. — Вот оно что.

Он невидяще глядел в окно, сжимая в ладонях женину руку, как встарь, во времена своего жениховства, лет сорок тому назад.

— Он один у нас оставался, — сказал он, полуобернувшись к гостю. — Как же так?

Гость откашлялся, встал и прошел к окну.

— Фирма поручила мне выразить искреннее сочувствие вашему огромному горю, — сказал он, не оборачиваясь. — Поймите, я простой служащий и делаю, что мне приказывают.

Ответа ему не последовало. Старуха сидела с помертвевшим лицом и остановившимся взглядом, и дыхания ее не было слышно; на лице же ее мужа было то выражение, с каким, наверное, вышел из первого испытания его друг-сержант.

— Мне поручено сказать, что Мо и Меггинс снимают с себя ответственность за случившееся, — продолжал третий. — Они не видят за собой никакой вины, но, уважая заслуги вашего сына, желают выплатить вам некоторую компенсацию.

Мистер Уайт выронил руку жены, поднялся со стула и с ужасом уставился на гостя. Пересохшими губами он вылепил слово:

— Сколько?

— Двести фунтов.

Не слыша вопля жены, старик слабо улыбнулся, слепо повел рукой и безжизненно рухнул на пол.

III

На огромном новом кладбище, милях в двух от дома, они похоронили своего покойника и вернулись к себе, к погасшему и остывшему очагу. Все так скоро кончилось, что поначалу случившееся не укладывалось у них в голове и они пребывали как бы в ожидании чего-то такого, что облегчит тяжесть, навалившуюся на их старые сердца.

Дни шли, и ожидание сменилось покорностью, той безнадежной покорностью стариков, которую порой путают с апатией. Иногда они за весь вечер не обменивались и словом, потому что говорить им было не о чем, и дни тянулись томительно долго.

Миновала неделя, и однажды, проснувшись, как от толчка, старик пошарил рукой и понял, что лежит один. Было темно, и от окна доносились тихие всхлипывания. Он сел в постели и прислушался.

— Иди сюда, — осторожно позвал он. — Простынешь.

— Сыночку там холоднее, — сказала старуха и разрыдалась.

Он все глуше слышал ее плач. В постели было

тепло, глаза слипались. Он несколько раз впадал в забытье и наконец провалился в сон, из которого его вырвал страшный крик жены.

— Лапка! — кричала она страшным голосом. — Обезьянья лапка!

Он испуганно вскинулся в постели:

— Где? Где она? Что случилось?

Она ощупью двинулась к кровати.

— Нужна лапка, — сказала она ровным голосом. — Ты не уничтожил ее?

— Она в гостиной, на полке, — озадаченно сказал он. — А что такое?

Разом смеясь и плача, она нагнулась и поцеловала его в щеку.

— Я о чем подумала, — заговорила она срывающимся голосом. — Как я раньше не подумала? Как ты не подумал?

— О чем не подумал? — спросил он.

— Осталось два желания! — выпалила она. — Мы загадали только одно.

— Тебе этого мало? — жестко спросил он.

— Погоди! — радостно вскричала она. — Мы загадаем еще одно. Поди за ней и загадай, чтобы наш мальчик стал живым.

Старик сел и откинул одеяло с задрожавших ног.

— Господи, ты сошла с ума! — крикнул он, похолодев.

— Иди, иди за ней, — задыхалась она, — и загадай… Мальчик мой!

Муж чиркнул спичкой и зажег свечу.

— Ложись в постель, — неуверенно сказал он. — Ты сама не понимаешь, о чем говоришь.

— Первое-то желание исполнилось, — горячо сказала старуха. — Почему не исполниться второму?

— Это было совпадение, — пробормотал старик.

— Поди за ней и загадай! — крикнула жена, дрожа как в лихорадке.

Вглядевшись в нее, старик сказал дрогнувшим голосом:

— Он уже десять дней мертвый, и потом… я тебе не говорил… я узнал его только по одежде. Если тогда тебе нельзя было его видеть, то как же теперь?

— Верни его! — вскричала старуха и потащила его к двери. — Неужели я испугаюсь собственного ребенка?

Он спустился по темной лестнице, вслепую нашел гостиную, а потом и камин. Талисман лежал на месте, и страшная мысль, что невыговоренное

желание может вернуть ему изувеченного сына прямо сейчас, вдруг сковала старика, он забыл, в какой стороне дверь, и дыхание у него перехватило. Его прошиб холодный пот, он на ощупь обошел вокруг стола и не отлипал от стены, пока не оказался с этой дрянью в руке в тесной передней.

И жена выглядела другой, когда он вошел в комнату. К нему было обращено белое настороженное лицо, и его необычное выражение напугало старика. Ему стало с ней страшно.

— Загадывай! — решительно велела она.

— Глупая и вредная затея, — пробормотал он.

— Загадывай! — повторила жена.

Он поднял руку:

— Я хочу, чтобы мой сын опять был живой.

Талисман упал на пол, и он в ужасе уставился на него. Потом, дрожа, опустился в кресло, а старуха с загоревшимися глазами отошла к окну и подняла шторы.

Он сидел, коченея от холода, и время от времени поглядывал на старуху, приникшую к окну. Свечной огарок, догорев до чашечки фарфорового подсвечника, бросал на стены и потолок дергающиеся тени, потом ярко вспыхнул и погас. Чувствуя невыразимое облегчение оттого, что

талисман не подействовал, старик забрался в постель, и через минуту-другую рядом тихо и вяло улеглась старуха.

Оба молчали, прислушиваясь к тиканью часов. Скрипнула лестница; попискивая, прошуршала вдоль стены мышь. Темнота угнетала, и, еще полежав для храбрости, старик взял коробок спичек, чиркнул и пошел вниз за свечой.

На нижней ступеньке спичка догорела, и он остановился зажечь другую; и в эту самую минуту в дверь тихо и осторожно, почти неслышно постучали.

Спички выпали у него из рук и рассыпались по всей передней. Он замер и не дышал, пока стук не повторился. Тогда он проворно вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. В третий раз стук отозвался по всем комнатам.

— Что это? — встрепенулась старуха.

— Крыса, — дрожащим голосом ответил старик. — Попалась на лестнице.

Жена села в постели и прислушалась. Громкий стук разнесся по всему дому.

— Это Герберт! — пронзительно закричала она. — Герберт!

Она кинулась к двери, но муж опередил ее и, крепко схватив за руку, удержал.

— Что ты хочешь сделать? — прохрипел он.

— Мальчик мой, Герберт! — кричала она, вырываясь. — Я забыла, тут же целых две мили. Что ты меня держишь? Пусти. Я открою.

— Ради бога, не впускай! — дрожа, кричал старик.

— Ты боишься собственного сына! — кричала она, вырываясь. — Пусти меня. Иду, Герберт, иду!

Снова раздался стук, потом еще раз. Сильным рывком старуха освободилась и выбежала из спальни. Муж выскочил за ней на площадку, заклиная вернуться. Он слышал, как звякнула сброшенная дверная цепочка и медленно и туго отодвинулся нижний засов. Потом услышал ее напряженный, задыхающийся голос.

— Теперь верхний! — крикнула она. — Спустись. Мне не достать.

Но муж ползал по полу, нащупывая лапку. Только бы найти ее прежде, чем тот, снаружи, войдет. Канонадой разносились по дому удары, он слышал, как скрипнул стул, который жена поволокла к двери. Слышал, как заскрипел верхний засов, и в эту минуту он нашел обезьянью лапку и исступленно выдохнул последнее, третье желание. Стук оборвался, хотя его эхо еще звучало в доме. Он услышал, как стул отодвинули и дверь

открылась. Порыв холодного ветра взмыл по лестнице, и протяжный, отчаянный и горестный вопль жены дал ему силы сбежать к ней и потом добежать до калитки. Под мигающим светом уличных фонарей лежала пустая мирная дорога.

1902

Монтегю Родс Джеймс
1862–1936



Граф Магнус

Как попали в мои руки бумаги, из которых я вывел связный рассказ, читатель узнает в самую последнюю очередь. Однако мои выписки необходимо предварить сообщением о том, какого рода эти бумаги.

Итак, они представляют собой отчасти материалы для книги путешествий, какие во множестве выходили в сороковые и пятидесятые годы. Прекрасным образцом литературы, о которой я веду речь, служит «Дневник пребывания в Ютландии и на Датских островах» Хораса Марриэта. Обычно в этих книгах рассказывалось о каком-нибудь неизведанном месте на континенте. Они украшались гравюрами на дереве и на стальных пластинах. Они сообщали подробности о гостиничном номере и дорогах, каковые сведения мы теперь скорее найдем в любом хорошем путеводителе, и основное место в них отводилось записям бесед с умными иностранцами, колоритными трактирщиками и общительными крестьянами. Словом, это были книги-собеседники.

Начатые с целью доставить материал для такой книги, попавшие ко мне бумаги постепенно при-

няли форму отчета о единственном, коснувшемся только одного человека испытании, к завершению которого и подводил этот отчет.

Пишущим был некто мистер Рексолл. Я знаю о нем ровно столько, сколько позволяют узнать его собственные записи, и из них я заключаю, что это был пожилой человек с некоторым состоянием и один-одинешенек на целом свете. Своего угла в Англии у него, похоже, не было, он скитался по гостиницам и пансионам. Он, возможно, предполагал когда-нибудь обосноваться на одном месте, но так и не успел; сдается мне, пожар на мебельном складе «Пантекникон» в начале семидесятых годов уничтожил многое из того, что могло пролить свет на его прошлое, поскольку он раз-другой поминает имущество, сданное туда на хранение.

Выясняется также, что мистер Рексолл в свое время опубликовал книгу о вакациях в Бретани. Ничего более об этом труде я не могу сообщить, поскольку усердный библиографический поиск оставил меня в убеждении, что книга выходила без имени автора либо под псевдонимом.

Нетрудно составить приблизительное представление о его личности. Это был умный и развитый человек, без пяти минут член совета

своего колледжа — Брейзноуза, как мне подсказывает оксфордский ежегодник. Безусловно, его искусительной слабостью было излишнее любопытство — в путешественнике, может быть, простительная слабость, однако наш путешественник в итоге дорого заплатил за нее.

Приготовлением к новой книге как раз и было путешествие, ставшее для него последним. Его вниманием завладела Скандинавия, о которой сорок лет назад в Англии знали не очень много. Возможно, он набрел на старые книги по истории Швеции или мемуары и осознал надобность в книге, где странствия по этой стране перемежались бы рассказами про знатные шведские фамилии. Запасшись, как водится, рекомендательными письмами к некоторым шведским аристократам, он отбыл туда в начале лета 1863 года.

Нет нужды пересказывать, как он разъезжал по Северу или несколько недель просидел в Стокгольме. Следует лишь упомянуть о том, что некий тамошний savant [1] навел его на ценный семейный архив, принадлежавший владельцам старого поместья в Вестергётланде, и исхлопотал

---

[1] Примечания: 1
Ученый *(фр.).*

для него разрешение поработать с документами.

Упомянутое поместье, или herrgård, мы здесь назовем Råbäck (по-английски это звучит примерно как «Робек») — в действительности у него другое название. В своем роде это одно из лучших сооружений в стране, и на гравюре 1694 года, помещенной в «Suecia antiqua et moderna» [2] Даленберга, сегодняшний турист признает его сразу. Поместье было построено вскоре после 1600 года и в рассуждении материала близко тогдашнему домостроительству в Англии: красный кирпич, облицованный камнем. Воздвиг его отпрыск знатного рода Делагарди, чьи потомки и поныне владеют им. Когда случится говорить о них, я так и буду их называть: Делагарди.

Мистера Рексолла они приняли уважительно и тепло и настаивали, чтобы он жил у них, пока будут продолжаться его занятия. Оберегая свою независимость и стесняясь плохо говорить по-шведски, он, однако, обосновался в деревенской гостинице, и житье там оказалось вполне сносным, во всяком случае в летнюю пору. Такое решение повлекло за собой ежедневные прогулки в усадьбу и обратно — это меньше мили. Сам

---

[2] Примечания: 2

«Швеция древняя и современная» (лат.).

дом стоял в парке, укрытый или, лучше сказать, теснимый громадными вековыми деревьями. Неподалеку, за стеной, раскинулся сад, дальше вы попадали в густую рощу, за ней сразу озерцо, какими изобилует тот край. Там уже начиналась пограничная стена, вы взбирались по крутому холму, кремнистую кручу чуть покрывала земля, и на самой вершине стояла церковь в окружении высоких темных деревьев. На взгляд англичанина, это было курьезное сооружение. Низкие неф и приделы, много скамей, хоры. На западных хорах стоял старый, пестро раскрашенный орган с серебряными трубами. На плоском потолке церкви художник семнадцатого столетия изобразил причудливо-кошмарный Страшный суд, смешав в одно языки пламени, рушащиеся города, горящие корабли, стенающие души и смуглых скалящихся чертей. С потолка свисали красивые бронзовые паникадила; кафедру, как кукольный домик, покрывали резные раскрашенные фигурки херувимов и святых; к аналою крепилась подставка с тройкой песочных часов. Подобное убранство вы увидите во множестве шведских церквей, только эта церковь выделялась пристройкой к основному зданию. У восточного края северного придела основатель поместья выстроил для

себя и своих родственников мавзолей. Это восьмиугольное здание с круглыми оконцами под куполом, увенчанное неким подобием тыквы, из которого вырастает шпиль, — шведские зодчие обожают эту деталь. Купол снаружи медный и выкрашен черной краской, а стены мавзолея, как и церкви, ослепительно-белые. Из церкви нет входа в усыпальницу. С северной стороны у нее есть приступок и своя дверь.

Дорожка мимо кладбища ведет в деревню, и через три-четыре минуты вы у порога гостиницы.

В первый день своего пребывания в Робеке мистер Рексолл нашел дверь церкви открытой и сделал то описание внутреннего убранства, которое я привел здесь. Однако в усыпальницу ему попасть не удалось. В замочную скважину он лишь разглядел прекрасные мраморные изваяния и медные саркофаги с богатым гербовым орнаментом, чрезвычайно раздразнившим его любопытство.

Документы, обнаруженные им в поместье, были как раз того рода, какие требовались для его книги: семейная переписка, дневники, счета прежних владельцев с подробными, разборчивыми записями, с забавными и живописными деталями. Первый Делагарди представал в них

сильной и одаренной личностью. Вскоре после строительства дома в округе настала нищета, крестьяне взбунтовались, напали на несколько замков, что-то пожгли и порушили. Владелец Робека возглавил подавление мятежа, и в записях упоминались суровые кары против зачинщиков, которые он учинил недрогнувшей рукой.

Портрет Магнуса Делагарди был одним из лучших в доме, и мистер Рексолл изучал его с интересом, не ослабевшим после целого дня работы с бумагами. Он не дает подробного описания, но я догадываюсь, что это лицо подействовало на него скорее силою выражения, нежели правильностью черт либо добродушием; да он и сам пишет, что граф был на редкость безобразен.

В тот день мистер Рексолл ужинал в усадьбе и возвратился к себе хотя и поздно, но еще засветло. «Не забыть спросить церковного сторожа, — пишет он, — не пустит ли он меня в усыпальницу. Он, безусловно, имеет туда доступ; я видел его вечером на ступенях, он, по-видимому, отпирал или запирал дверь».

Я выяснил, что утром следующего дня мистер Рексолл беседовал со своим хозяином. То, что он подробнейше это расписал, сперва меня удивило; потом уже я сообразил, что бумаги, которые я

читаю, были, во всяком случае вначале, материалами к задуманной книге, а задумана она была в псевдоочерковом духе, где вполне допустимы диалоги вперемешку с прочим.

Целью мистера Рексолла, как он сам говорит, было выяснить, сохранились ли какие-либо предания о графе Магнусе в связи с его деятельностью и пользовался ли этот господин любовью окружающих или нет. Он убедился в том, что графа определенно не любили. Если арендаторы опаздывали на работы, их драли на «кобыле» либо секли и клеймили во дворе замка. Были один-два случая, когда люди занимали земли, краем заходившие в графские владения, после чего их дома таинственным образом сгорали зимней ночью со всеми домочадцами. Но сильнее всего запало трактирщику Черное Паломничество графа — он заговаривал о нем несколько раз, — откуда тот либо что-то привез, либо вернулся не один.

Вслед за мистером Рексоллом вы, естественно, заинтересуетесь, что такое Черное Паломничество. Однако на сей счет вам придется потерпеть, как терпел и мистер Рексолл. Хозяин был явно не расположен распространяться и даже заикаться на эту тему и, когда его вызвали на минуту, вышел со всей поспешностью, через малое время

заглянув в дверь сказать, что его требуют в Скару и вернется он только вечером.

Так, не удовлетворив своего любопытства, мистер Рексолл отправился в усадьбу разбирать бумаги. Те, что попались ему в тот день, скоро отвлекли его мысли в сторону: это была переписка между Софией Альбертиной из Стокгольма и ее замужней кузиной Ульрикой Леонорой из Робека с 1705 по 1710 год. Письма представляли исключительный интерес, давая яркую картину шведской культуры того времени, что подтвердит всякий, кто читал их полное издание в публикациях Шведской комиссии исторических рукописей.

К вечеру он закончил с письмами и, вернув коробку на полку, естественным образом взял несколько ближайших томов, дабы определить, какими он будет заниматься назавтра в первую очередь. На той полке помещались главным образом хозяйственные книги, заполненные первым графом Магнусом. Впрочем, стояла там и книга другого рода — трактаты по алхимии и иным предметам, также написанные почерком шестнадцатого века. Не будучи знатоком подобной литературы, мистер Рексолл, не жалея места, безо всякой нужды выписывает названия и первые строчки этих трактатов: «Книга Феникс», «Книга

тридцати слов», «Книга жабы», «Книга Мириам», «Turba philosophorum» [3] и тому подобное, а затем столь пространно изъявляет свой восторг, обнаружив на листке в середине тома, первоначально не исписанном, рукою графа Магнуса начертанные слова: «Liber nigræ peregrinationis» [4]. Правда, там было всего несколько строк, но этого было достаточно, чтобы отнести предание, утром помянутое хозяином, во всяком случае ко временам графа Магнуса, и, возможно, хозяин ему верил. Вот те слова в переводе: «Желающий обрести долгую жизнь да обретет верного гонца и увидит кровь врагов своих, а вперед этого пусть отправится в город Хоразин и поклонится князю…» — тут было подчищено одно слово, но не до конца, и мистер Рексолл был почти уверен, что он правильно читает «æris» («воздуха»). Запись обрывалась латинской фразой: «Quære reliqua hujus materiei inter secretiora» («Прочее об этом смотри в личных бумагах»).

Нельзя отрицать, что все это бросало довольно мрачный свет на вкусы и верования графа; однако в глазах мистера Рексолла, отделенного от него

---

[3] Примечания: 3
«Ассамблея философов» (лат.).

[4] Примечания: 4
«Книга Черного Паломничества» (лат.).

почти тремя столетиями, граф вырастал в еще более яркую фигуру, добавив к своему могуществу знание алхимии и обретя с нею что-то вроде магии; и когда, вдоволь наглядевшись на портрет в холле, мистер Рексолл отправился к себе в гостиницу, его мыслями целиком владел граф Магнус. Он не глядел по сторонам, его не пронимали ни вечерние лесные запахи, ни картины заката на озере, и когда он неожиданно остановился, то он изумился тому, что дошел почти до ворот кладбища и в нескольких минутах пути его ждет обед. Взгляд мистера Рексолла упал на мавзолей.

— А, — сказал он, — вот и вы, граф Магнус. Очень хотелось бы увидеться с вами.

«Как многие одинокие люди, — пишет он, — я имею привычку говорить с самим собою вслух, не ожидая ответа. Естественно и к счастью для меня, в этот раз ни голоса, ни ответа не прозвучало; только женщина, я думаю, прибиравшая церковь, уронила на пол что-то металлическое, и от этого звука я вздрогнул. А граф Магнус, я полагаю, спит крепким сном».

В тот же вечер хозяин гостиницы, знавший о желании мистера Рексолла повидаться со служкой, или дьяконом (как он именуется в Швеции), познакомил их у себя. Быстро договорившись

осмотреть на следующий день склеп Делагарди, они еще некоторое время беседовали. Памятуя, что среди прочего шведские дьяконы готовят конфирмантов, мистер Рексолл решил освежить свои познания в Библии.

— Не скажете ли мне что-нибудь о Хоразине? — спросил он.

Дьякон озадачился, но тут же вспомнил, что место это было проклято.

— Само собой разумеется, — сказал мистер Рексолл, — сейчас городок лежит в руинах?

— Скорее всего, да, — ответил дьякон. — Старики-священники говаривали, что там народится Антихрист; существуют всякие истории…

— А! Какие же истории? — поспешил спросить мистер Рексолл.

— Я как раз хотел сказать, что все их перезабыл, — сказал дьякон и вскоре после этого распрощался.

Оставшийся один хозяин был целиком в распоряжении мистера Рексолла, который не собирался щадить его.

— Герр Нильсен, — сказал он, — мне попало в руки кое-что о Черном Паломничестве. Не откажите рассказать, что вам известно. Что привез с собой граф по возвращении?

Может, шведы вообще не спешат с ответом, а может, это была отличительная черта трактирщика — не знаю. Только мистер Рексолл отмечает, что хозяин с минуту смотрел на него, прежде чем заговорил снова. Он приблизился к своему постояльцу и с видимым усилием сказал:

— Мистер Рексолл, я расскажу вам одну маленькую историю, но только одну, не больше, и ни о чем не расспрашивайте меня после. При жизни моего деда — это, значит, девяносто два года назад — некие два человека сказали: «Граф давно мертв, мы его не боимся. Сегодня ночью пойдем на охоту в его лес». Это та дубрава на холме, что видна за Робеком. А те, кто их слышал, сказали: «Не ходите. Там наверняка бродят люди, которым бродить не положено. Им положено лежать смирно, а не бродить». Но те двое рассмеялись. Лесничих там не было, потому что в тот лес никто не ходил. И здесь, в поместье, никого не было. Так что эта пара могла поступать, как ей заблагорассудится.

Ладно, той же ночью они ушли в лес. Мой дед сидел здесь, в этой комнате. Дело было летом, ночь стояла светлая; открыв окно, он видел лес и все слышал. И вот он сидел тут, и еще двое-трое с ним, и все слушали. Сначала они ничего не

слышали. Потом слышат — а вы знаете, как это далеко, — слышат, кто-то завопил, да так, словно из него душу вырывали. Все, кто тут сидел, ухватились друг за друга и обмерли на три четверти часа. Потом еще слышат — сотнях в трех ярдов отсюда, — кто-то как захохочет! И это не из тех двоих, что ушли. Это вообще, говорят они, не человек хохотал. А потом услышали, как захлопнулась огромная дверь.

Когда взошло солнце, они все пошли к священнику. И говорят ему: «Облачайтесь, отче, и идемте хоронить их, Андерса Бьернсена и Ханса Торбьерна».

Они, понимаете, были уверены, что те двое уже покойники. И пошли они все в лес. Дед, сколько жил, помнил про это. Говорил, что они сами были как покойники. И священник был белый от страха. Когда они пришли к нему, он сказал: «Я слышал, как ночью один кричал. Слышал, как потом другой смеялся. Не будет мне больше сна, если я этого не забуду».

Итак, они пошли в лес и нашли тех двоих на опушке. Ханс Торбьерн стоял спиной к дереву и все отмахивался руками, словно отталкивал что-то невидимое. Он, выходит, остался живой. Они увели его, поместили в лечебницу в Нючёпин-

ге, и к зиме он помер, а руками так и махал все время. И Андерса Бьернсена они нашли. Но этот был мертвый. И вот что я вам скажу про него, про Андерса Бьернсена: он был красивым мужчиной, а тут у него и лица не осталось, одни голые кости торчали. Представляете? Мой дед забыть этого не мог. Они положили его на носилки, которые были с ними, накрыли голову холстиной, и священник пошел впереди. И по пути они все запели, как могли, заупокойную молитву. Только пропели первый стих, один из тех, что шли впереди, вдруг упал, остальные оглянулись и видят: холстина съехала и на них во все глаза смотрит Андерс Бьернсен. Этого они вынести не смогли. Священник закрыл ему лицо, послал за лопатой, и они тут же, на этом месте, его и зарыли.

На следующий день, пишет дальше мистер Рексолл, дьякон прислал за ним после завтрака, и его повели к церкви и к усыпальнице. Он отметил, что ключ от мавзолея висит на гвоздике сбоку от кафедры, и тогда же подумал, что раз церковь, похоже, не запирается, то ему не составит труда одному наведаться к статуям раз и другой, если он сразу же не удовлетворит свой интерес. Помещение, куда он вошел, оказалось внушительным. Памятники большей частью представляли собой

крупные изваяния семнадцатого-восемнадцатого веков, напыщенно-величавые, обильно украшенные эпитафиями и гербами. В центре сводчатого зальца стояли три медных саркофага, покрытые тонкой резьбы орнаментом. На крышках двух из них лежали, как это принято в Дании и Швеции, большие металлические распятия. На третьем же, где, как выяснилось, покоился граф Магнус, вместо распятия была вырезана его фигура в полный рост, а вокруг саркофага несколько рядов того же богатого орнамента представляли разные сцены. Один барельеф изображал сражение: пушка изрыгала клубы дыма, высились крепости, шли отряды копейщиков. На другом была представлена казнь. На третьем через лес бежал во всю мочь человек с развевающимися волосами и распростертыми руками. За ним двигалась странная фигура; художник будто намеревался изобразить человека, но ему не хватило на это умения, а может, его намерением было показать именно такое чудовище — трудно сказать. Признавая мастерство, с каким была выполнена вся сцена, мистер Рексолл склонялся ко второму предположению. Эта малорослая фигура была укутана в плащ с капюшоном, волочившийся по земле. Трудно было назвать рукой то, что торчало

из этого куля. Вспомнив по этому поводу морского дьявола, то бишь осьминога, мистер Рексолл продолжает: «Увидев это, я сказал себе: если здесь представлена некая аллегория — например, дьявол преследует обреченную душу, — то это может быть навеяно историей графа Магнуса и его таинственного спутника. Посмотрим, каким-то предстанет охотник: это, несомненно, будет демон, дующий в свой рог». Однако этой тревожащей воображение фигуры не обнаружилось, лишь на холме, опершись на трость, стоял человек, закутанный в плащ, и наблюдал за охотой с явным интересом, который резчик попытался передать соответствующей позой.

Мистер Рексолл отметил также отличной работы массивные висячие замки — всего их было три, — оберегавшие покой саркофага. Один, он видел, разомкнулся и лежал на полу. Стесняясь задерживать дьякона и жалея тратить попусту рабочее время, он поспешил в усадьбу.

«Любопытно отметить, — пишет он, — что, возвращаясь знакомой дорогой, настолько уходишь в свои мысли, что абсолютно не замечаешь ничего вокруг. Сегодня вечером, уже во второй раз, я совершенно не отдавал себе отчета в том, куда иду (у меня было намерение одному зайти в

гробницу и переписать эпитафии), и вдруг как бы пробудился и обнаружил, что снова стою перед воротами кладбища и, представьте себе, напеваю что-то вроде: „Вы не проснулись, граф Магнус?“, „Вы спите, граф Магнус?“ — и уж не помню, что там еще. Похоже было, что этому нелепому времяпрепровождению я посвятил известное время».

Он нашел ключи от усыпальницы на месте, переписал многое из того, что хотел переписать, и, вообще говоря, работал, пока не стемнело.

«Я, должно быть, ошибся, — пишет он, — сказав, что разомкнулся один замок на саркофаге графа; вечером я увидел на полу два замка. Я поднял их и, не сумев закрепить, осторожно положил на подоконник. Оставшийся третий держался крепко, и, хотя, по всей видимости, это замок с пружиной, я не могу понять, как он открывается. Если бы мне удалось его отпереть, то, страшно сказать, я бы попытался открыть и саркофаг. Странно, как влечет меня к себе личность этого, боюсь, жестокого и мрачного дворянина».

Следующий день, как выяснилось, был последним днем пребывания Рексолла в Робеке. Он получил письма касательно своих капиталовложений, и выяснилось, что дела требуют его возвращения в Англию. Его работа с архивами

практически завершилась, а путь предстоял долгий. Он решил нанести прощальные визиты, закончить свои записи и отправляться домой.

Визиты и завершение записей заняли больше времени, чем он предполагал. Гостеприимное семейство уговорило его отобедать с ними — они обедали в три часа, — и за железные ворота Робека мистер Рексолл вышел почти в половине седьмого. Сознавая, что в последний раз идет этой дорогой, он задумчиво шел берегом озера, стремясь сохранить в себе ощущение этого места и времени. Достигнув вершины кладбищенского холма, он долго стоял там, озирая бескрайнее море близких и дальних лесов, лежавших темной массой под бирюзовым небом. Когда он собрался уходить, ему неожиданно пришла мысль попрощаться и с графом Магнусом, и со всеми прочими Делагарди. Церковь находилась всего ярдах в двадцати, а где висит ключ от усыпальницы, ему было известно. Вскоре он стоял у большого медного надгробия, по обыкновению разговаривая с собою. «Может быть, в свое время вы были негодяем, Магнус, — говорил он, — но мне все равно хотелось бы вас увидеть или…»

«В этот самый миг, — пишет он, — я почувствовал удар по ноге. Я довольно проворно отдернул

ее, и что-то со стуком упало на пол. Это разомкнулся на саркофаге последний, третий замок. Я нагнулся подобрать его, и — небеса свидетелем, что это истинная правда, — не успел я выпрямиться, как скрипнули металлические петли и я отчетливо увидел, что крышка поднимается. Может быть, я повел себя как трус, но я не смог оставаться там долее ни секунды. Я был за порогом этого страшного сооружения быстрее, чем сейчас записал или выговорил эти слова. И что страшит меня более всего, я не сумел запереть за собой дверь. Записывая сейчас у себя в комнате случившееся (не прошло и двадцати минут), я задаюсь вопросом, продолжился ли потом этот скрип металлических петель, и не могу ответить на этот вопрос. Знаю только, что меня встревожило что-то еще, чего я здесь не записал. Но был то звук или я что видел — не могу вспомнить. Что же такое я сделал?»

Бедный мистер Рексолл! На следующий день он, как и планировал, отправился обратно в Англию и благополучно добрался туда, но добрался человеком сломленным, как я могу судить по отрывочным записям и изменившемуся почерку. В одной из маленьких записных книжек, доставшихся мне вместе с его бумагами, содержится

если не ключ, то намек на то, что он пережил. Большую часть пути он плыл на небольшом суденышке, и я отметил, что не менее шести раз он пытался пересчитать и описать своих спутников. Записи были примерно такого рода:

24. Деревенский пастор из Сконе. Обычное черное пальто и мягкая черная шляпа.

25. Коммерсант из Стокгольма. Направляется в Трольхеттан. Черный плащ, коричневая шляпа.

26. Мужчина в длинном черном плаще, в широкополой шляпе, очень старомодный.

Последняя запись вычеркнута, и сбоку приписано: «Возможно, тот же, что № 13. Пока не видел его лица». Найдя номер тринадцатый, я увидел, что это католический священник в сутане.

Итог всегда был одинаков. Двадцать восемь человек, из них один мужчина в длинном черном плаще и широкополой шляпе, а другой — «коротышка в темном плаще с капюшоном».

С другой стороны, неизменно отмечалось, что к обеду выходят только двадцать шесть пассажиров, и мужчина в плаще, скорее всего, отсутствует, а коротышка отсутствует определенно.

В Англии мистер Рексолл, как выясняется, высадился в Харидже и сразу же решил избавиться от одного или двух людей, в которых он, несо-

мненно, видел своих преследователей, хотя и не распространялся на их счет. С этой целью, не доверяя железной дороге, он нанял крытый одноконный экипаж и отправился дальше в сельскую глушь, в деревню Белшем-Сент-Пол. Он добрался до места к десяти часам вечера. Августовская ночь была лунной. Он сидел впереди и смотрел в окно на пробегавшие мимо поля и рощи; ничего другого не было видно. И вот он подъехал к развилке дорог. Перед ним неподвижно стояли две фигуры, обе в темных плащах, на высоком была шляпа, на коротышке — капюшон. Он не успел разглядеть их лиц, и они даже не шелохнулись. Тем не менее лошадь дико прянула и сорвалась в галоп, а мистер Рексолл упал на подушки, близкий к отчаянью. Он уже видел их прежде.

В Белшем-Сент-Пол ему повезло, он нашел пристойно обставленную комнату и следующие двадцать четыре часа прожил сравнительно спокойно. В это время он сделал свои последние записи. Они слишком бессвязны, чтобы привести их здесь полностью, однако смысл их достаточно ясен. Мистер Рексолл ожидает прихода своих преследователей — каким образом и когда, ему неведомо — и постоянно повторяет: «Что же я сделал?» и «Есть ли надежда?». Врачи, он уве-

рен, признают его сумасшедшим, полицейские высмеют. Священника поблизости нет. Остается только запереть дверь и взывать к Господу.

Еще в прошлом году жители Белшем-Сент-Пол вспоминали, как много лет назад августовским вечером к ним приехал странный господин, и как через сутки его нашли мертвым и было назначено следствие, и как присяжные, увидев тело, попадали в обморок, а было их семеро, но ни один потом не проговорился, что они увидели, и как вынесли приговор: «Кара Господня», и как владельцы того дома на той же неделе уехали в другие края. Они, я полагаю, так и не узнали, что на эту таинственную историю когда-нибудь, может быть, и будет пролит слабый свет. Так случилось, что в прошлом году их маленький дом перешел ко мне как часть наследства. Он пустовал с 1863 года, и не было никакой надежды его сдать; поэтому я пустил его на слом, а бумаги, из которых я тут сделал извлечения, были обнаружены в забытом шкафчике, под окном, в лучшей спальне.

1904

Подброшенные руны

15 апреля 190… года

Досточтимый сэр!

Совет… Ассоциации уполномочил меня возвратить Вам рукопись доклада на тему «Истина алхимии», который Вы любезно предложили зачитать на нашем предстоящем собрании, и проинформировать Вас, что он не считает возможным включить этот доклад в программу.

Искренне Ваш,

……

секретарь Ассоциации.

18 апреля

Досточтимый сэр!

С сожалением вынужден сообщить, что, будучи загружен делами, не имею возможности встретиться с Вами для обсуждения Вашего доклада. Равным образом наш устав не предусматривает процедуры обсуждения Вами этого вопроса с комитетом нашего Совета, которое Вы предложили провести. Позвольте заверить Вас в том, что представленная Вами рукопись была рассмотрена предельно внимательно и отклонена лишь после консультации с самым авторитетным в этой

области специалистом. Едва ли есть смысл добавлять, что решение Совета никоим образом не обусловлено какими-либо личными мотивами.

Примите уверения… и прочее.

20 апреля

Секретарь Ассоциации… со всем почтением уведомляет мистера Карсвелла, что не уполномочен сообщать ему сведения о лице или лицах, которым могла быть передана на рассмотрение рукопись его доклада, а также желает известить о том, что не обязуется далее поддерживать переписку на эту тему.

— И кто такой этот мистер Карсвелл? — полюбопытствовала у секретаря его жена, которая незадолго до того зашла к нему в кабинет и — возможно, несколько бесцеремонно — пробежала взглядом последнее из вышеприведенных писем, только что принесенное машинисткой.

— Ну в данный момент, моя дорогая, мистер Карсвелл — это весьма рассерженный человек. Но кроме этого, я мало о нем знаю — разве только то, что он довольно состоятелен, живет в Лаффордском аббатстве в Уорикшире, судя по всему, занимается алхимией и жаждет выговориться на эту тему перед членами нашей Ассоциации.

Вот, пожалуй, и все — если не считать того, что в ближайшую неделю-другую мне бы не хотелось с ним встречаться. Ну а теперь, если ты готова, мы можем идти.

— Чем же ты так его рассердил?

— Обычное дело, дорогая, самое обычное: он прислал рукопись доклада, который хотел зачитать на ближайшем заседании, и мы передали ее на рассмотрение Эдварду Даннингу — едва ли не единственному в Англии человеку, разбирающемуся в подобных вещах. Даннинг сказал, что доклад совершенно безнадежен, и мы его отклонили. С тех пор Карсвелл забрасывает меня письмами. В последнем он потребовал назвать ему имя того, кто рецензировал его вздор; мой ответ ты видела. Но, ради бога, не говори никому об этом ни слова.

— Я и не собираюсь. Разве я когда-нибудь болтала о твоих делах? Однако я все же надеюсь, он никогда не узнает, что это был бедный мистер Даннинг.

— «Бедный»? Не понимаю, почему ты так его называешь; на самом деле он весьма счастливый человек, этот Даннинг. У него множество увлечений, уютный дом и уйма времени, которым он волен располагать как пожелает.

— Я лишь имела в виду, что было бы весьма огорчительно, если бы тот человек узнал о нем и стал бы ему досаждать.

— О да! Конечно. Рискну предположить, что тогда он и вправду стал бы «бедным мистером Даннингом».

Супруги были приглашены на ланч к друзьям из Уорикшира, и жена секретаря решила во что бы то ни стало осторожно расспросить их о мистере Карсвелле. Однако хозяйка дома избавила ее от необходимости аккуратно подводить разговор к этой теме: едва они принялись за ланч, она произнесла, обращаясь к мужу:

— Я видела нашего «лаффордского аббата» нынче утром.

Хозяин присвистнул.

— Правда? Интересно, каким ветром его сюда занесло?

— Бог его знает; он как раз выходил из ворот Британского музея, когда я проезжала мимо.

Вполне естественно, что жена секретаря поинтересовалась, о настоящем ли аббате идет речь.

— О нет, моя дорогая: это просто наш сосед из Уорикшира, который несколько лет назад приобрел в собственность Лаффордское аббатство. На самом деле его зовут Карсвелл.

— Он ваш друг? — спросил секретарь, незаметно для хозяев подмигнув жене.

В ответ на него обрушился настоящий поток красноречия. На самом деле ничего, что свидетельствовало бы в пользу мистера Карсвелла, сказать было невозможно: его занятия были скрыты от посторонних глаз; у него в услужении состояли люди самого низшего разбора; он придумал себе новую религию и практиковал отвратительные обряды, о которых, впрочем, никто ничего не знал достоверно; он чрезвычайно легко обижался и никогда не прощал обид; у него была отталкивающая наружность (так утверждала хозяйка, меж тем как ее супруг вяло ей возражал); он ни разу в жизни никому не сделал добра, от него исходил один только вред.

— Дорогая, будь же к нему справедлива, — прервал хозяин монолог жены. — Ты, верно, забыла, какое развлечение он устроил для школьной детворы.

— Забудешь такое, как же! Впрочем, хорошо, что ты упомянул тот случай — он дает ясное представление об этом человеке. Вот послушайте, Флоренс. В первую зиму, которую он встретил в Лаффорде, наш замечательный сосед написал священнику своего прихода (мы не его при-

хожане, но очень хорошо его знаем) письмо с предложением устроить для школьников показ картинок посредством волшебного фонаря. Он заявил, что у него есть новые образцы, которые, как ему кажется, вызовут у детей интерес. Священник был несколько озадачен, поскольку прежде мистер Карсвелл определенно не жаловал детвору — сетовал на ее вторжения в его усадьбу и прочие подобные шалости. Тем не менее согласие было дано, и в назначенный вечер наш друг отправился самолично взглянуть на представление и удостовериться, что все идет как до́лжно. По его словам, он никогда не испытывал такой благодарности небесам, какую ощутил в тот день оттого, что на показе не присутствовали его собственные дети — они в это время были на детском празднике, который мы устроили у себя в доме. Потому как мистер Карсвелл, несомненно, затеял все это лишь для того, чтобы перепугать деревенских ребятишек до смерти, и я уверена, что, если бы ему позволили продолжать, он добился бы своей цели. Начал он со сравнительно безобидных вещей — картинок, иллюстрирующих сказку о Красной Шапочке, — но даже на них, как утверждает мистер Фаррер, волк оказался таким отвратительным, что нескольких малышей

пришлось увести. Священник говорит также, что мистер Карсвелл, рассказывая эту сказку, издал звук, который напоминал отдаленный волчий вой и ужаснее которого мистеру Фарреру в жизни не доводилось слышать. Все изображения были сделаны в высшей степени искусно и отличались необыкновенным правдоподобием; священник понятия не имеет, где Карсвелл их раздобыл или как сумел изготовить. Меж тем представление продолжалось, истории становились все страшнее, дети, зачарованные зрелищем, притихли. И наконец их взорам предстала серия картинок, изображавших маленького мальчика, который вечерней порой шел через принадлежащий Карсвеллу Лаффордский парк. Любой ребенок в комнате мог без труда узнать это место. Так вот, мальчика преследовало — сперва хоронясь за деревьями, но постепенно становясь все более видимым — некое ужасное прыгающее существо в белом одеянии; в конце концов это существо настигало несчастного и то ли разрывало его на части, то ли расправлялось с ним каким-то другим способом. Мистер Фаррер сказал, что именно этому зрелищу он обязан самым жутким из когда-либо снившихся ему кошмаров, и трудно даже представить, как оно могло подействовать

на детей. Конечно, это было уже чересчур, о чем он и заявил в крайне резких выражениях мистеру Карсвеллу, добавив, что не позволит ему продолжать. На что тот ответил: «А, так вы полагаете, что пора завершать наше маленькое представление и отправлять детишек домой, по кроваткам? Очень хорошо». И затем — вы только вообразите — он вставил в волшебный фонарь еще одну пластинку, и на экране появилось огромное скопление змей, сороконожек и омерзительных крылатых тварей; вдобавок ему удалось, посредством каких-то уловок, создать впечатление, будто эти гады выбрались из картинки и расползаются среди зрителей, и сопроводить все это каким-то сухим шелестом, который едва не свел детей с ума и, конечно, заставил их вскочить со своих мест. Выбираясь из комнаты, многие заработали себе синяки и набили шишки, и навряд ли хоть один ребенок в ту ночь заснул. Случившееся вызвало в деревне ужасный переполох. Матери, разумеется, возложили львиную долю вины на бедного мистера Фаррера, а отцы, наверное, перебили бы все стекла в окнах аббатства, если бы сумели проникнуть за его ворота. Вот что представляет собой мистер Карсвелл, наш «лаффордский аббат»; из этого,

моя дорогая, вы сами можете заключить, сильно ли мы жаждем общения с ним.

— Да, я полагаю, у него несомненно есть преступные задатки, у этого Карсвелла, — заметил хозяин. — Не завидую участи того, кого он сочтет своим недругом.

— Не тот ли это человек — или я путаю его с кем-то другим, — вступил в разговор секретарь, который уже несколько минут озабоченно хмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, — не тот ли это человек, что в свое время выпустил в свет «Историю колдовства»? Лет десять назад, если не больше?

— Он самый. Вы помните, какие отзывы снискал этот труд?

— Конечно, помню, и, что не менее важно, я знавал автора самого язвительного из них. Да и вы должны помнить Джона Харрингтона — он учился в Сент-Джонс-колледже в одно время с нами.

— Да, в самом деле, я отлично его помню, хотя после окончания университета, кажется, не имел о нем никаких известий, до тех пор, пока не наткнулся на отчет о расследовании по его делу.

— О расследовании? — переспросила одна из дам. — А что с ним случилось?

— Ну, случилось так, что он упал с дерева и сломал себе шею. Но что побудило его туда забраться, так и осталось загадкой. Довольно-таки темная история, надо сказать. Человек, не наделенный атлетическим сложением и, насколько нам известно, не склонный к эксцентрике, возвращается поздним вечером домой по проселочной дороге, на которой нет никаких бродяг, которая пролегает через места, где его хорошо знают и любят, — и вдруг ни с того ни с сего бросается бежать как безумный, теряет шляпу и трость и в довершение всего карабкается на дерево, составляющее часть живой изгороди, куда залезть не так-то просто. Сухая ветка не выдерживает его веса, он падает, и утром его находят лежащим на земле со сломанной шеей и с выражением неописуемого ужаса на лице. Разумеется, совершенно ясно, что за ним гнались; поговаривали об одичавших собаках, о хищных животных, сбежавших из зверинца, но дальше предположений дело не пошло. Случилось это в восемьдесят девятом году, и с тех пор его брат Генри (которого вы, возможно, не знали в Кембридже, а я знал так же хорошо, как самого Джона) пытается найти объяснение случившемуся. Он, конечно, утверждает, что здесь имел место злой умысел, но мне трудно понять, каким

образом он мог быть претворен в жизнь.

Прошло некоторое время, и разговор вернулся к «Истории колдовства».

— А вы в нее когда-нибудь заглядывали? — полюбопытствовал хозяин дома.

— Не только заглядывал, но даже прочел целиком, — ответил секретарь.

— И что же, она и вправду так плоха, как утверждали рецензенты?

— В том, что касается стиля и построения, совершенно безнадежна и вполне заслуживает тех уничижительных отзывов, которых удостоилась. Но, кроме того, это зловещая книга. Этот человек верил в каждое написанное им слово, и, думаю, я не сильно ошибусь, предположив, что действенность большинства своих рецептов он проверил на практике.

— Ну что до меня, то я помню лишь отзыв Харрингтона и должен признаться, что, будь я автором книги, подобная отповедь отбила бы у меня всякое желание вновь браться за перо. После такого я бы ни за что не осмелился вновь поднять голову.

— В данном случае результат оказался иным. Но постойте, уже половина четвертого; я вынужден проститься.

По дороге домой жена секретаря сказала:

— Надеюсь, этот ужасный человек все же не узнает, что мистер Даннинг причастен к отклонению его рукописи.

— Думаю, это маловероятно, — ответил секретарь. — Сам Даннинг не станет об этом распространяться, поскольку такие вопросы считаются конфиденциальными, да и мы этого делать не будем — по той же самой причине. Догадаться Карсвелл не сможет, ведь Даннинг не публиковал никаких работ по теме, которой посвящен этот злополучный доклад. Единственная опасность заключается в том, что Карсвелл надумает поинтересоваться у сотрудников Британского музея, кто из читателей имеет обыкновение заказывать алхимические кодексы: я ведь не могу запретить им упоминать имя Даннинга, верно? Это лишь подстегнуло бы их все немедленно ему рассказать. Но будем надеяться, что подобного не случится.

Мистер Карсвелл, однако, оказался проницательным человеком.

Все вышеизложенное — своего рода пролог истории. Как-то вечером в конце той же недели мистер Эдвард Даннинг возвращался после своих научных занятий из Британского музея в уютный

пригородный дом, где жил один, опекаемый двумя прилежными служанками, которые состояли при нем уже долгое время. К описанию мистера Даннинга, которое мы слышали прежде, нам добавить нечего, а посему последуем за ним в его спокойном возвращении домой.

Станция, на которую мистера Даннинга доставлял поезд, находилась в паре миль от его дома; он преодолевал это расстояние на пригородном трамвае и затем пешком — от конечной остановки до его парадной двери было около трехсот ярдов. В этот день он вдоволь начитался еще до того, как сел в вагон, да и скудное освещение в трамвае располагало разве что к разглядыванию объявлений на оконных стеклах рядом со своим местом. Вполне естественно, что объявления, расклеенные на этом трамвайном маршруте, ему приходилось изучать довольно часто, и, если не считать блестящего и убедительного диалога между мистером Лэмплоу и знаменитым Кингз-колледжем по поводу антипиретической соли, ни одно из них не способно было увлечь его воображение. Впрочем, не совсем так: на сей раз мистер Даннинг заметил в самом дальнем углу вагона одно объявление, которое, насколько он помнил, ему прежде не доводилось видеть.

Со своего места он не мог разобрать ничего из написанного синими буквами на желтом поле — ничего, кроме имени Джона Харрингтона и ряда цифр, похоже, составлявших дату. Возможно, это и не заслуживало внимания, однако, когда вагон несколько опустел, любопытство все же побудило мистера Даннинга перебраться на то место, откуда текст был различим целиком. Его старания оказались до известной степени вознаграждены — объявление и впрямь было необычным. В нем говорилось: «В память о мистере Джоне Харрингтоне, ч. о. а., «Лавры», Эшбрук, скончавшемся 18 сентября 1889 года после трехмесячной отсрочки».

Вагон остановился. Мистер Даннинг продолжал разглядывать синие буквы на желтом фоне, и лишь оклик кондуктора заставил его вернуться к действительности.

— Прошу простить меня, — сказал он. — Я изучал вот это объявление — оно в высшей степени странное, вы не находите?

Кондуктор медленно прочитал надпись.

— Надо же, — произнес он, — никогда не видел его прежде. Какое-то чудачество, иначе не скажешь. Кто-то дурака валяет, вот что я думаю.

Он достал тряпку, поплевал на нее и потер стек-

ло — сперва изнутри, а затем, выйдя из вагона, и снаружи.

— Нет, — констатировал он по возвращении, — оно не просто наклеено. Сдается мне, оно находится внутри стекла, то есть в самом веществе, как вы бы сказали. А вам так не кажется, сэр?

Мистер Даннинг исследовал надпись, поскреб стекло пальцем в перчатке и вынужден был согласиться с собеседником.

— Кто отвечает за размещение объявлений в вагоне? — спросил он. — Мне бы хотелось, чтобы вы выяснили, как появилась здесь эта надпись. А текст ее я, с вашего разрешения, перепишу.

В этот момент до них донесся голос вагоновожатого:

— Пошевеливайся, Джордж, время поджимает!

— Ладно, ладно, — ответил кондуктор. — Здесь тоже кое-что зажато, прямо в стекле. Иди-ка глянь.

— Ну что тут у тебя в стекле? — спросил вагоновожатый, подойдя к ним. — Ну и кто такой этот Харрингтон? О чем вообще речь?

— Я как раз поинтересовался, кто отвечает за размещение объявлений в вагонах, и сказал, что было бы неплохо разузнать, как попало сюда это, — пояснил Даннинг.

— Ну, сэр, это все делается в конторе компании; думаю, этим ведает мистер Тиммз. Вечером, как закончим смену, я порасспрошу его и, возможно, завтра смогу что-то вам рассказать, если опять поедете этой дорогой.

Больше ничего примечательного в тот вечер не произошло. Мистер Даннинг лишь дал себе труд выяснить месторасположение Эшбрука и установил, что тот находится в Уорикшире.

На следующий день он вновь отправился в город. В утренний час в вагоне (а это оказался тот самый вагон) было так людно, что Даннингу не удалось перемолвиться с кондуктором ни единым словом; он смог лишь убедиться, что объявление, так заинтересовавшее его накануне вечером, кем-то убрано. Конец дня добавил происходящему загадочности. Даннинг опоздал на трамвай или же просто решил прогуляться до дому пешком, но в довольно поздний час, когда он работал у себя в кабинете, одна из служанок пришла сообщить, что два человека из трамвайного депо хотят во что бы то ни стало переговорить с ним. Он сразу вспомнил про объявление, о котором, по его собственным словам, почти успел позабыть. Пригласив визитеров в кабинет (ими оказались кондуктор и вагоновожатый) и предло-

жив им напитки, он поинтересовался, что сказал по поводу объявления мистер Тиммз.

— Из-за этого-то мы и решились прийти к вам, сэр, — сказал кондуктор. — Мистер Тиммз, услыхав про надпись, крепко выбранил Уильяма. Он говорит, что никто подобного объявления не давал, не заказывал, не оплачивал и не вывешивал и вообще его там быть не могло, а мы только дурака валяем, отнимая у него время. Ну, говорю я, коли так, то все, о чем я прошу вас, мистер Тиммз, это сходить и взглянуть на него собственными глазами. И конечно, если его там нет, продолжаю я, тогда вы можете называть меня как вам угодно. Хорошо, говорит он, я схожу. И мы не мешкая отправились в вагон. А теперь скажите мне, сэр, разве не было то объявление, как мы их называем, с именем Харрингтона синими буквами на желтом стекле, видно яснее ясного и — как я тогда сказал, а вы со мной согласились — помещено внутрь стекла? Если помните, я еще пытался стереть его своей тряпкой.

— Будьте уверены, я помню совершенно отчетливо. Хорошо, ну и что же дальше?

— По мне, так не очень-то хорошо. А дальше мистер Тиммз заходит в вагон с фонарем — нет, не так, он велел Уильяму держать зажженный

фонарь снаружи. Ну, говорит, и где ваше драгоценное объявление, о котором вы мне уши прожужжали? Вот оно, мистер Тиммз, говорю я и кладу руку на то место, где оно должно быть. — Сказав это, кондуктор умолк.

— И, — заговорил мистер Даннинг, — полагаю, оно исчезло. Стекло оказалось разбито?

— Разбито? Нет. Не знаю, поверите вы мне или нет, но от тех синих букв на стекле не осталось и следа — не больше, чем на… ну да что говорить. В жизни не видел ничего подобного. Пусть Уильям скажет, если… но, повторяю, чего ради я стал бы выдумывать?

— А что сказал мистер Тиммз?

— Да именно то, что я сам позволил ему сказать в такой ситуации: обозвал нас обоих на разные лады, и не думаю, что его стоит за это сильно винить. Но мы — Уильям и я — вот о чем подумали: мы ведь видели, как вы переписали себе что-то из того объявления — ну из той надписи.

— Именно так, и эта запись сейчас у меня. Вы хотите, чтобы я лично поговорил с мистером Тиммзом и показал написанное ему? Вы ведь за этим ко мне пришли?

— Ну а я что говорил? — сказал Уильям, обращаясь к своему товарищу. — Нужно иметь дело с

джентльменом, если можешь отыскать такового, вот что я скажу. Небось теперь, Джордж, ты признаешь, что я не напрасно потащил тебя на ночь глядя в такую даль?

— Ладно, ладно, Уильям, не делай вид, будто ты меня силком сюда приволок. Я ведь вел себя смирно, правда? Тем не менее нам не следовало отнимать у вас столько времени, сэр; и все же мы были бы вам ужасно признательны, если бы вы смогли заглянуть поутру в нашу контору и рассказать мистеру Тиммзу о том, что видели собственными глазами. Понимаете, нас беспокоит не то, что он обзывал нас так и этак; но если в конторе решат, что нам мерещится то, чего нет, то слово за слово — и где мы окажемся через год?.. Ну, вы понимаете, о чем я.

И, продолжая на ходу строить предположения, Джордж, подталкиваемый Уильямом, покинул кабинет.

Недоверие мистера Тиммза (который был шапочно знаком с мистером Даннингом и прежде) было значительно поколеблено на следующий день благодаря тому, что́ посетитель ему рассказал и продемонстрировал; и никаких пометок, неблагоприятных для репутации Уильяма и Джорджа, напротив их имен в документах компа-

нии не появилось. Однако и объяснения случаю в трамвае тоже не было.

Днем позже произошло еще одно событие, которое только усилило интерес мистера Даннинга к этому делу. Направляясь из своего клуба к железнодорожной станции, он заметил чуть впереди человека с пачкой листовок наподобие тех, что раздают прохожим агенты торговых фирм. Этот агент, впрочем, выбрал для своей рекламной акции не слишком оживленную улицу: пока мистер Даннинг не поравнялся с ним, распространителю листовок не удалось заинтересовать своей информацией ни одного человека. Листок оказался в руке у Даннинга, когда он проходил мимо, при этом незнакомец невзначай коснулся его руки, заставив его слегка вздрогнуть. Рука, вручившая листовку, была неестественно горячей и грубой. Даннинг мельком глянул на распространителя, но зрительный образ, оставшийся у него в памяти, оказался настолько смутным, что, как ни пытался он впоследствии мысленно восстановить его, все было тщетно. Не замедляя шага, он на ходу окинул взглядом бумагу. Она была голубого цвета, и ему в глаза бросилась фамилия Харрингтон, напечатанная крупными прописными буквами. Мистер Даннинг остано-

вился, пораженный, и принялся искать очки. В следующее мгновение какой-то человек, быстро проходивший мимо, вырвал бумагу у него из рук и бесследно исчез. Даннинг пробежал чуть назад, но не обнаружил ни прохожего, схватившего листок, ни распространителя.

На следующий день мистер Даннинг, пребывая в несколько задумчивом настроении, вошел в Отдел редких рукописей Британского музея и заполнил требования на Харли 3586 и некоторые другие тома. Спустя непродолжительное время, получив заказанные манускрипты, он водрузил фолиант, с которого хотел начать чтение, на стол, и вдруг ему показалось, что у него за спиной кто-то произнес шепотом его имя. Мистер Даннинг поспешно обернулся, ненароком смахнув со стола свою папку с бумагой для записей, но не увидел никого из знакомых, кроме смотрителя отдела, который приветственно кивнул ему, и принялся собирать рассыпавшиеся по полу листки. Решив, что подобрал все, он вернулся на место и уже намеревался приступить к работе, когда дородный джентльмен, который сидел позади него и теперь, судя по всему, приготовился уходить, сказал, тронув мистера Даннинга за плечо: «Позвольте отдать это вам. Мне кажется,

это ваше», — после чего вручил ему утерянный бумажный листок.

— Да, это мое, благодарю вас, — ответил мистер Даннинг, и в следующий миг любезный незнакомец покинул помещение.

По завершении намеченных на этот день дел мистеру Даннингу довелось разговориться с дежурным сотрудником отдела, и он, пользуясь случаем, поинтересовался, как зовут того полного джентльмена.

— О, его фамилия Карсвелл, — ответил сотрудник. — Неделю назад он просил меня назвать ему имена самых крупных знатоков в области алхимии, и я, конечно, указал на вас как на единственного в стране специалиста по этому предмету. Я узнаю, когда его можно будет застать здесь; уверен, он обрадуется знакомству с вами.

— Ради бога, даже не думайте об этом! — воскликнул мистер Даннинг. — Я всячески стараюсь избежать встречи с ним.

— Что ж, хорошо, — пожал плечами дежурный. — Он нечасто сюда приходит; смею предположить, что вы навряд ли с ним столкнетесь.

В тот день, возвращаясь домой, мистер Даннинг не раз мысленно признавался себе, что перспектива провести вечер в уединении не вселяет

в его душу привычной радости. Ему казалось, будто между ним и окружающими людьми пролегло нечто неосязаемое и трудноуловимое — и властно заявило свои права на него. В поезде и в трамвае ему хотелось сесть поближе к соседям-пассажирам, но таковых, как нарочно, и в том и в другом вагоне оказалось крайне мало. Кондуктор Джордж выглядел задумчивым, как будто с головой ушел в подсчет численности пассажиров. Добравшись до дому, мистер Даннинг увидел доктора Уотсона, своего врача, который ожидал его у порога.

— Весьма сожалею, Даннинг, что вынужден был нарушить ваш домашний распорядок. Обе ваши служанки hors de combat [5]. По правде говоря, мне пришлось отправить их в больницу.

— Господи! Что случилось?

— Напоминает отравление трупным ядом. Сами вы, как я вижу, не пострадали, иначе не смогли бы так вот разгуливать. Но я думаю, они поправятся.

— Боже правый! У вас есть какие-нибудь предположения, почему это произошло?

— Ну, они говорят, что купили на обед устриц

---

[5] Примечания: 5
Здесь: занемогли *(фр.).*

у какого-то разносчика. Это странно. Я навел справки: ни к кому из ваших соседей по улице никакой разносчик не заходил. Я не мог сообщить вам… Некоторое время ваших служанок при вас не будет. Как бы то ни было, приходите ко мне на ужин нынче вечером, и мы обсудим, что делать дальше. В восемь часов. И не тревожьтесь без нужды.

Вечера в одиночестве, таким образом, удалось избежать — правда, ценой весьма печальных обстоятельств и вызванных ими бытовых неудобств. Мистер Даннинг довольно приятно провел время в обществе доктора (сравнительно недавно поселившегося в этих местах) и вернулся в свой опустевший дом около половины двенадцатого. Наступившую вскоре ночь он едва ли вспоминал по прошествии времени с удовольствием. Погасив свет, Даннинг лежал в постели и прикидывал, достаточно ли рано придет утром поденщица, чтобы согреть к его пробуждению воды, как вдруг услышал звук, который не мог не узнать: открылась дверь его рабочего кабинета. Никаких шагов из коридора за этим не последовало, однако донесшийся до него звук был, несомненно, недобрым знаком — Даннинг отлично помнил, что вечером, убрав бумаги в

ящик стола и выйдя из кабинета, закрыл за собой дверь. Скорее стыд, чем храбрость, заставил его выскользнуть в ночной рубашке в коридор и, перегнувшись через перила лестницы, вслушаться в тишину. Нигде не было видно ни единого проблеска света, ничто не нарушало тишины, лишь его голени на мгновение овеял поток теплого, даже горячего воздуха. Мистер Даннинг вернулся в спальню и решил запереть дверь изнутри. Неприятности, однако, еще не закончились. То ли местная электрокомпания, решив, что ее услуги в ночное время не нужны, отключила свет в целях экономии, то ли что-то случилось со счетчиком, но только электричества в доме не было. Даннинг ощутил вполне естественное в этой ситуации желание отыскать спички и выяснить, который час и как долго ему еще придется терпеть неудобство. С этим намерением он запустил руку в хорошо знакомый укромный уголок под подушкой, но вместо часов наткнулся на то, что, как он уверяет, было зубастым ртом, поросшим волосами и ничуть не похожим на человеческий. Едва ли есть смысл гадать, что он в этот момент сказал или сделал; известно только, что, сам не понимая как, он оказался в соседней комнате возле запертой изнутри двери, к которой настороженно припал

ухом. Там он и провел остаток самой несчастной в его жизни ночи, ежесекундно ожидая уловить движение за дверью; однако больше ничего не случилось.

Утром, то и дело вздрагивая и вслушиваясь в тишину, он вернулся в спальню. Дверь, к счастью, была распахнута настежь, а жалюзи подняты, поскольку накануне служанки покинули дом еще до наступления темноты. Одним словом, ничто не говорило о том, что в комнате кто-то побывал. Часы мистера Даннинга также находились на своем обычном месте; все пребывало в полном порядке — кроме разве что дверцы платяного шкафа, как всегда, немного приоткрытой. С черного хода раздался звонок, который возвестил о приходе поденщицы, нанятой днем раньше; с ее появлением мистер Даннинг достаточно осмелел, чтобы перенести свои поиски в другие уголки дома. Но и там его разыскания не увенчались каким-либо успехом.

Начавшийся подобным образом день и продолжился довольно уныло. Отправиться в музей мистер Даннинг не решился: вопреки уверению дежурного, Карсвелл мог в любой момент там появиться, а Даннинг не чувствовал в себе сил противостоять враждебно настроенному

незнакомцу. Собственный дом сделался ему ненавистен, однако и злоупотреблять гостеприимством доктора было неловко. Он несколько приободрился, когда, дозвонившись до больницы и справившись о самочувствии горничной и экономки, услышал обнадеживающий ответ. Близилось время ланча, и Даннинг отправился в клуб, где нашелся еще один повод для радости: он повстречался там с секретарем вышеупомянутой Ассоциации. За ланчем он рассказал своему другу о поразившем его домоуправительниц недуге, однако не решился поведать о том, что сильнее всего тяготило его душу.

— Как это печально, мой бедный дорогой друг! — воскликнул секретарь. — Послушайте: мы с женой живем совершенно одни, вам следует на некоторое время поселиться у нас. И не возражайте: сегодня же днем присылайте свои вещи!

Даннинг не нашел в себе сил воспротивиться этой идее: по правде говоря, его, что ни час, все сильнее терзали мысли о том, что принесет ему ближайшая ночь. Он был почти счастлив, когда, охваченный нетерпением, возвращался домой собирать вещи.

Друзья, к которым мистер Даннинг вскоре прибыл, как следует присмотревшись к нему,

поразились его удрученному виду и, как могли, постарались поднять ему настроение — надо сказать, не без успеха. Однако позднее, когда мужчины курили вдвоем, лицо Даннинга вновь омрачилось. Неожиданно он произнес:

— Гэйтон, мне кажется, тот алхимик знает, что его доклад отклонен по моей рекомендации.

Секретарь присвистнул.

— Почему вы так думаете? — спросил он.

Даннинг пересказал ему свой разговор с сотрудником музея, и Гэйтон вынужден был признать, что догадка друга, по всей видимости, верна.

— Не то чтобы я был сильно обеспокоен, — продолжал Даннинг, — но, доведись нам встретиться, могут быть неприятности. Как мне кажется, он довольно вздорный субъект.

Разговор вновь прервался; лицо и весь облик Даннинга выдавали все возрастающее отчаяние; проникшись участием к другу, Гэйтон в конце концов собрался с духом и спросил напрямик, не гнетет ли его что-то серьезное. Даннинг в ответ издал возглас облегчения.

— Я тщетно пытался прогнать от себя эти мысли, — сказал он. — Вам что-нибудь известно о человеке по имени Джон Харрингтон?

Гэйтон был так поражен услышанным, что

вместо ответа лишь поинтересовался, почему Даннинг об этом спрашивает. И тот поведал секретарю всю историю своих злоключений — обо всем, что произошло с ним в трамвае, в его собственном доме и на улице, о тревоге, которая охватила его и никак не хотела исчезать, — и под конец повторил свой вопрос. Гэйтон не знал, что ответить другу. Вероятно, стоило бы рассказать ему о том, как умер Харрингтон; вот только находившийся в нервическом состоянии Даннинг едва ли был подходящим слушателем для такого рассказа, да и вертевшийся в голове вопрос, не является ли Карсвелл звеном, связующим оба случая, никак не способствовал принятию решения. Человеку науки было нелегко допустить подобное; впрочем, термин «гипнотическое внушение» мог смягчить ситуацию. В конце концов секретарь решил, что пока следует ответить на вопрос Даннинга осторожно и нынче же вечером обсудить эту тему с женой. Поэтому он сказал, что знавал Харрингтона в Кембридже, что, кажется, тот внезапно умер в 1889 году, и добавил к этому некоторые подробности касательно самого Харрингтона и опубликованных им работ. Несколько позже он переговорил обо всем этом с миссис Гэйтон, и она, как и предвидел супруг,

незамедлительно сделала вывод, к которому он склонялся и сам. Именно она напомнила мужу о Генри Харрингтоне, брате покойного Джона, и посоветовала связаться с ним через друзей, у которых им недавно довелось побывать в гостях.

— Он, должно быть, неисправимый чудак, — возразил ей Гэйтон.

— Это можно выяснить у Беннетов, они хорошо его знают, — ответила миссис Гэйтон и на следующий же день встретилась с упомянутой четой.

Вряд ли имеет смысл излагать дальнейшие подробности знакомства Даннинга с Генри Харрингтоном. Зато нельзя обойти вниманием состоявшуюся между ними беседу. Даннинг рассказал Харрингтону, каким странным образом ему стало известно имя покойного, а также поведал о череде более поздних событий из собственной жизни. Потом он спросил, не мог бы Харрингтон в свою очередь припомнить обстоятельства, при которых умер его брат. Нетрудно представить себе, насколько собеседник Даннинга был удивлен услышанным; тем не менее он с готовностью ответил на вопрос:

— В течение нескольких недель, предшествовавших трагедии, хотя и не перед самым концом, Джон, несомненно, временами пребывал в очень

странном состоянии, — сказал он. — Тому есть ряд подтверждений, главное из которых заключается в том, что ему казалось, будто его кто-то преследует. Несомненно, он был впечатлительным человеком, но подобных навязчивых идей за ним прежде не замечалось. Я никак не могу отделаться от мысли, что случившееся с ним стало следствием чьей-то злой воли, а ваш рассказ о собственных злоключениях живо напомнил мне о моем брате. Как вы думаете, здесь может существовать какая-то связь?

— У меня есть только одно смутное предположение. Я слышал, что ваш брат незадолго до смерти опубликовал весьма нелицеприятный отзыв об одной книге, а мне совсем недавно довелось перейти дорогу тому самому человеку, который ее написал, и здорово его этим обидеть.

— Только не говорите, что его фамилия Карсвелл!

— Почему же? Именно о нем и идет речь.

Генри Харрингтон откинулся на спинку кресла:

— Тогда, на мой взгляд, все очевидно. Теперь я должен объяснить подробнее. Разговаривая с братом, я убедился, что он, сам того не желая, начал видеть в Карсвелле источник своих несчастий.

Расскажу вам кое о чем, что, по-моему, имеет отношение к делу. Мой брат очень любил музыку и часто посещал концерты, проходящие в городе. Как-то раз, месяца за три до смерти, вернувшись с одного такого концерта, он показал мне программку — обзорную программку: он всегда их сохранял. «На этот раз я едва без нее не остался, — сказал он. — Вероятно, свой экземпляр я выронил. Во всяком случае, я искал ее под креслом, в карманах и в разных других местах, и в итоге мой сосед предложил мне свою, сказав, что она ему больше не нужна; почти сразу после этого он ушел. Кто это был, я не знаю: такой полноватый, чисто выбритый человек. Мне было бы жаль лишиться программки: конечно, я мог бы купить еще одну, но эта-то досталась мне даром». Впоследствии он признался мне, что по пути в гостиницу и в продолжение ночи чувствовал себя крайне неуютно. Вспоминая это теперь, я мысленно связываю те события в единую нить. Некоторое время спустя он разбирал свои программки, раскладывая их по порядку, чтобы затем переплести, и на первой странице той, которую обронил в театре (и на которую я тогда, признаться, едва глянул), обнаружил полоску бумаги с какими-то странными письменами; выведенные чрезвычайно аккурат-

но красными и черными чернилами, эти буквы более всего напомнили мне руническое письмо. «О! — воскликнул он. — Должно быть, это принадлежит моему полноватому соседу. Судя по ее виду, эта запись важная и ее следует вернуть владельцу; возможно, она откуда-то скопирована и определенно стоила кому-то немалого труда. Как бы мне узнать его адрес?» Коротко посовещавшись, мы решили, что не стоит давать объявление о находке — лучше поискать того человека на очередном концерте, куда мой брат в скором времени собирался. Было это в холодный, ветреный летний вечер; мы вдвоем сидели возле камина, а пресловутая находка лежала поверх книжного переплета. Полагаю, ветер приоткрыл дверь, хотя сам я этого не видел; так или иначе, поток теплого воздуха внезапно прошел между нами, подхватил бумажную полоску с надписью и направил ее прямиком в огонь; легкая и тонкая, она ярко вспыхнула и пепельным лепестком улетела в дымоход. «Ну вот, — сказал я, — теперь ты не сможешь ее вернуть». С минуту он молчал, потом раздраженно бросил: «Сам знаю, что не смогу; но зачем без конца это повторять?» Я возразил ему, заметив, что упомянул о потере всего один раз. «Всего четыре раза, ты хотел ска-

зать», — произнес он и умолк. Это происшествие запомнилось мне необычайно ясно — уже не знаю, по какой причине.

Теперь перехожу к самому главному. Не знаю, случалось ли вам заглядывать в книгу Карсвелла, которую рецензировал мой несчастный брат, но подозреваю, что нет. А вот мне доводилось читать ее, причем как до, так и после кончины брата. В первый раз мы потешались над ней вместе с Джоном. Там нет даже намека на какой бы то ни было стиль — незавершенные периоды и всевозможные ошибки, от которых любому выпускнику Оксфорда сделалось бы дурно. Кроме того, автор безоговорочно верит во все, о чем пишет: классические мифы и истории из «Золотой легенды» перемешаны у него с документальными рассказами про обычаи современных дикарей; все это, несомненно, заслуживает серьезного отношения, но только надо уметь это использовать — а он, увы, не умеет: он, похоже, не видит разницы между «Золотой легендой» и «Золотой ветвью» и верит им обеим; одним словом, жалкое зрелище. Так вот, уже после того, как с братом произошло несчастье, мне довелось перечитать эту книгу. Она, разумеется, не стала лучше, но на сей раз открылась мне в каком-то

ином свете. Я, как вы уже знаете, подозревал, что Карсвелл питал враждебные чувства к моему брату и даже был в известной мере повинен в случившемся; и теперь эта книга показалась мне в высшей степени зловещим произведением. Особенно поразила меня одна глава, где он говорит о «подброшенных рунах», с помощью которых можно привязывать к себе людей или, напротив, убирать их со своего пути (главным образом последнее); то, как об этом сказано, заставляет думать, что автор рассуждал о подобных заклятиях, исходя из собственного реального опыта. Сейчас не время вдаваться в детали, но в результате своих размышлений я совершенно уверился, что тем любезным человеком на концерте был Карсвелл. Я подозреваю — даже более чем подозреваю, — что сгоревшая бумажка имела важное значение, и мне верится, что, сумей мой брат вернуть ее, он, возможно, был бы сейчас жив. И потому хочу спросить: не случалось ли с вами чего-то похожего на то, что рассказал я?

В ответ Даннинг поведал о происшествии в Отделе рукописей Британского музея.

— Так, значит, он и вправду передал вам какие-то бумаги? Вы их рассмотрели? Нет? Тогда, с вашего позволения, нам необходимо взглянуть

на них тотчас же, и притом очень внимательно.

Они отправились в дом Даннинга, по-прежнему пустовавший; обе служанки были еще слишком слабы, чтобы вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Папка для бумаг лежала на письменном столе, постепенно покрываясь пылью. Внутри обнаружилась пачка листков небольшого формата, которые Даннинг использовал для беглых заметок; он вынул их и принялся перебирать, и вдруг от одного из листков отделилась легкая тонкая бумажная полоска, с удивительной быстротой заскользившая по кабинету. Окно было открыто, но Харрингтон захлопнул его как раз вовремя, чтобы не дать бумажке выпорхнуть наружу, и сумел схватить ее на лету.

— Так я и думал, — произнес он. — Эта штука, может статься, того же рода, что и полученная моим братом. Отныне вам следует соблюдать осторожность, Даннинг. Это может иметь для вас очень серьезные последствия.

Затем они долго совещались. Тщательное исследование найденной бумажки подтвердило правоту слов Харрингтона: начертанные на ней знаки более всего походили на руны, однако расшифровке не поддавались; ни Даннинг, ни

Харрингтон не решились скопировать эти знаки — из опасения придать сил злой воле, которая могла в них таиться. Немного забегая вперед, заметим, что это необычное послание или поручение так и осталось непрочтенным. Однако ни Даннинг, ни Харрингтон не сомневались, что обнаруженный ими документ обладает способностью окружать своих владельцев крайне нежелательными спутниками. Оба они были убеждены, что его нужно вернуть туда, откуда он появился, причем для большей уверенности в успехе необходимо сделать это собственноручно; последнее предполагало немалую изобретательность, ибо Карсвелл знал Даннинга в лицо, и тому требовалось по крайней мере сбрить бороду, чтобы как-то изменить внешность. Но что, если удар будет нанесен раньше? Харрингтон заявил, что они сумеют рассчитать время. Он знал дату концерта, на котором его брату была вручена «черная метка»: это случилось 18 июня, а смерть Джона Харрингтона последовала 18 сентября. Даннинг напомнил ему, что в надписи на вагонном стекле говорилось о трех месяцах отсрочки.

— Возможно, мне тоже выдан кредит на три месяца, — добавил он с грустной усмешкой. — Думаю, я могу установить это по своему дневнику.

Да, та встреча в музее произошла двадцать третьего апреля, что переносит меня — если аналогия верна — в двадцать третье июля. Что ж, полагаю, вы понимаете, как важно для меня знать все, что вам будет угодно рассказать о постепенно разраставшейся черной полосе в жизни вашего брата, — если вы чувствуете в себе силы говорить об этом.

— Конечно. Сильнее всего прочего его угнетало чувство, что за ним постоянно следят, неизменно обострявшееся, когда он оставался один. Спустя некоторое время я стал ночевать в его спальне, и он несколько приободрился; правда, часто разговаривал во сне. О чем именно? Не знаю, разумно ли вдаваться в эти подробности, по крайней мере, пока задуманное нами не осуществлено. Полагаю, что нет, но могу сообщить вам вот что: как раз в те недели ему пришли по почте две посылки — обе с лондонским штемпелем и адресом получателя, написанным казенным почерком. В одной из них находился грубо вырванный из какой-то книги лист с гравюрой Бьюика, изображающей человека на залитой лунным светом дороге, за которым следует некое ужасное демоническое создание. Ниже шли строки из «Сказания о Старом Мореходе», которое, как я полагаю, и иллюстрировала

гравюра, о том, кто, однажды обернувшись,

не смотрит более назад,
Лишь ускоряет шаг,
Поскольку знает, что за ним
Крадется страшный враг.

В другой посылке был отрывной календарь, из тех, какие нередко рассылают торговцы. Мой брат не удостоил его вниманием, но я — уже после смерти Джона — перелистал этот календарь и обнаружил, что все листки в нем после 18 сентября вырваны. Вас, верно, удивляет, что он отважился предпринять одинокую прогулку в тот вечер, когда его убили, но дело в том, что дней за десять до смерти он совершенно избавился от ощущения слежки и чьего-то присутствия у себя за спиной.

Посовещавшись, Харрингтон и Даннинг договорились о том, как будут действовать дальше. Харрингтон был знаком с одним из соседей Карсвелла и полагал, что это позволит ему отслеживать передвижения последнего. От Даннинга же требовалось быть готовым в любой момент встретиться с Карсвеллом, имея при себе бумажку с рунами — целую и невредимую и при этом хранящуюся в таком месте, откуда ее можно без

труда извлечь.

На этом они расстались. Последующие несколько недель стали, без сомнения, суровым испытанием для нервов Даннинга: казалось, в тот день, когда он принял из рук Карсвелла листок, вокруг него образовался неосязаемый барьер, постепенно сгущавшийся в давящую тьму, которая отсекала любые возможные пути спасения. Рядом с ним не было никого, кто мог бы указать ему подобные пути, а действовать самостоятельно у него, похоже, не было сил. На протяжении мая, июня и первой половины июля он в неописуемой тревоге ждал сигнала от Харрингтона. Однако Карсвелл за все это время ни разу не покинул пределы Лаффорда.

Наконец, когда оставалось уже меньше недели до того дня, который воспринимался Даннингом как дата окончания его земной жизни, пришла телеграмма: «Выезжает с вокзала Виктория в четверг ночным поездом, с последующей пересадкой на пароход. Не упустите. Буду у вас вечером. Харрингтон».

Он прибыл в назначенный час, и они составили план действий. Поезд отправлялся с вокзала Виктория в девять вечера, и последней его остановкой перед Дувром был Кройдон-Вест.

Харрингтону предстояло выследить Карсвелла на вокзале и найти в Кройдоне Даннинга, окликнув его, если потребуется, по заранее условленному имени. Тот в свою очередь должен был насколько возможно изменить внешность, снять с багажа все именные бирки и непременно иметь при себе пресловутый листок.

Волнение, в котором пребывал Даннинг, дожидаясь поезда на кройдонской платформе, думается, понятно без слов. В последние дни угнетавшее его чувство неотвратимой опасности лишь обострилось, несмотря на то что мрак вокруг него заметно рассеялся; облегчение, которое он испытал поначалу, являло собой зловещий симптом, и если Карсвеллу удастся ускользнуть — а это было вполне вероятно, даже слух о его предполагаемом путешествии мог оказаться не более чем хитроумной уловкой, — то всякая надежда на спасение будет потеряна. Двадцать минут, в течение которых он мерил шагами платформу и донимал носильщиков вопросами о том, когда придет поезд, были едва ли не самыми мучительными в его жизни. Наконец поезд прибыл, и Даннинг увидел Харрингтона в окне одного из вагонов. Чтобы ничем не выдать факт их знакомства, Даннинг вошел в вагон с дальнего

конца и лишь затем неторопливо приблизился к купе, в котором ехали Карсвелл и Харрингтон, не без удовольствия отметив про себя, что в поезде сравнительно немного пассажиров.

Карсвелл был настороже, но, судя по всему, не узнал Даннинга. Тот уселся наискосок от него и попытался — сперва безуспешно, но потом постепенно обретя самообладание — оценить, насколько возможна желанная передача. Рядом с ним на сиденье лежала целая груда принадлежавшей Карсвеллу верхней одежды, однако исподтишка засовывать туда листок не имело смысла: для того чтобы оказаться и почувствовать себя в безопасности, необходимо было каким-то образом передать Карсвеллу бумагу из рук в руки. Взгляд Даннинга упал на открытый саквояж противника и лежавшие внутри бумаги. Что, если изловчиться и незаметно убрать этот саквояж с глаз хозяина, чтобы Карсвелл забыл про него, выходя из вагона, а затем догнать попутчика и вручить ему потерю? Такой план напрашивался сам собой. Как пригодился бы сейчас совет Харрингтона! Но на это рассчитывать, увы, не приходилось. Одна за другой тянулись минуты. Несколько раз Карсвелл поднимался и выходил в коридор; во время второй его отлучки Даннинг

уже приготовился было столкнуть саквояж на пол, но спохватился, поймав предостерегающий взгляд Харрингтона. Противник наблюдал за происходящим в купе из коридора, возможно, желая выяснить, знакомы ли его попутчики друг с другом. По возвращении он выглядел явно встревоженным; и когда он опять поднялся со своего места, возник проблеск надежды, ибо что-то соскользнуло с его сиденья и с тихим шелестом упало на пол. Карсвелл снова вышел и на сей раз встал так, что его не было видно через окно в купейной двери. Даннинг поднял упавший предмет и обнаружил, что ключ к решению проблемы находится у него в руках: это был билетный футляр Кука с билетами внутри. На внешней стороне футляра имелся карман; не прошло и нескольких секунд, как небезызвестная бумажная полоска оказалась в этом кармане. Для подстраховки операции Харрингтон встал у двери и начал поправлять штору на окне. Дело было сделано, и сделано как раз вовремя, поскольку поезд уже начал замедлять ход, приближаясь к Дувру.

Мгновением позже Карсвелл возвратился в купе. Даннинг протянул ему футляр и произнес с неожиданной для него самого твердостью в голосе:

— Позвольте отдать вам это, сэр. Кажется, это ваше.

Мимоходом глянув на билет, лежавший внутри, Карсвелл произнес желанный ответ: «Да, это мое, премного благодарен вам, сэр», — и затем убрал футляр в нагрудный карман.

Даже в немногие остававшиеся до прибытия в Дувр минуты — минуты, полные напряжения и тревоги, связанных с риском преждевременного обнаружения подброшенного листка, — оба джентльмена заметили, что в купе вокруг них как будто начала сгущаться тьма, а воздух стал теплее, и что Карсвелл сделался подавленным и беспокойным: он притянул к себе груду одежды и затем оттолкнул обратно, словно испытывая к ней отвращение, после чего сел прямо и подозрительно оглядел своих попутчиков. Те, испытывая тошнотворный страх, принялись все же собирать свои вещи; когда поезд остановился в Дувр-тауне, обоим показалось, что Карсвелл вот-вот заговорит с ними. Вполне естественно, что на коротком перегоне между городом и причалом они предпочли выйти в коридор.

На конечной остановке — возле причала — они покинули вагон, но, поскольку в поезде было совсем немного пассажиров, Харрингтону и Дан-

нингу пришлось, разделившись, задержаться на платформе до тех пор, пока Карсвелл не проследовал в сопровождении носильщика мимо них, направляясь к пароходу. Только тогда они смогли без опаски пожать друг другу руки и обменяться горячими поздравлениями, при этом Даннинг от радости едва не лишился чувств. Харрингтон прислонил его к стене, а сам, пройдя чуть вперед, оказался неподалеку от трапа, к которому в этот момент как раз приблизился Карсвелл. Контролер проверил его билет, и пассажир, нагруженный своими пальто и пледами, прошел по трапу на борт. Внезапно контролер окликнул его: «Прошу прощения, сэр, а второй джентльмен показал свой билет?» В ответ с палубы донесся раздраженный голос Карсвелла: «Какого черта вы имеете в виду?» Контролер наклонился и посмотрел на него, и Харрингтон расслышал, как он произнес вполголоса: «Черт? Что ж, может, оно и так, я не поручусь», а потом громко добавил: «Я ошибся, сэр. Должно быть, это ваши пледы. Прошу прощения!» Затем он сказал своему подчиненному, стоявшему рядом: «Собака с ним, что ли? Чудно. Я готов поклясться, что он был не один. Ладно, что бы это ни было, с ним разберутся на борту. Пароход уже отбывает. Еще неделя, и

повалят отпускники».

Пять минут спустя с причала, озаренного луной и светом множества фонарей на дуврской набережной и овеваемого ночным бризом, были видны лишь тающие вдали огни парохода.

Много часов просидели эти двое в номере гостиницы «Лорд-губернатор». Несмотря на то что главная причина их страха была устранена, обоих одолевали тяжкие сомнения. Они были уверены, что послали человека на верную смерть, — но правильно ли они поступили? И не следовало ли хотя бы предупредить его о грозящей ему опасности?

— Нет, — сказал Харрингтон. — Если он убийца, а я в этом убежден, то мы всего лишь воздали ему по заслугам. Впрочем, если вы считаете, что так будет лучше… Но как и где вы могли бы предупредить его?

— У него билет только до Абвиля, — ответил Даннинг. — Я успел это заметить. Если я отправлю во все тамошние гостиницы, упомянутые в путеводителе Джоанна, телеграммы, в которых будет сказано: «Проверьте свой билетный футляр. Даннинг», то тем самым сниму с души камень. Сегодня двадцать первое, значит, у него будет в запасе целый день. Но боюсь, он уже безвозврат-

но ушел во тьму.

Текст телеграммы был передан для незамедлительной отправки в администрацию гостиницы «Лорд-губернатор»; однако получил ли адресат одно из этих посланий и, если получил, верно ли его понял, неизвестно. Известно лишь, что в полдень двадцать третьего июля некий английский путешественник, осматривая фасад церкви Святого Вольфрама в Абвиле, где в то время шли масштабные реставрационные работы, был поражен в голову камнем, который упал со строительных лесов, окружавших северо-западную башню, и погиб на месте; совершенно точно установлено, что на лесах в тот момент не было ни одного рабочего. Согласно найденным при нем документам, этим путешественником был мистер Карсвелл.

Остается добавить только одну подробность. При распродаже имущества Карсвелла Харрингтон приобрел довольно подержанное собрание работ Бьюика. Как он и предполагал, лист с гравюрой, изображающей путника и демона, был безжалостно вырван. И еще: благоразумно выждав некоторое время, Харрингтон решил рассказать Даннингу кое-что из того, что говорил во сне его брат; но Даннинг очень скоро прервал

поток его воспоминаний.

1911

Дом при Уитминстерской церкви

Доктор Аштон — Томас Аштон, доктор богословия, — сидел в своем кабинете, облаченный в халат. Его парик, временно покинувший бритую голову своего владельца (в данную минуту ее прикрывала лишь шелковая шапочка), был водружен на болванку и помещался на столике сбоку. Доктор Аштон был румяный мужчина лет эдак пятидесяти пяти, крепкого сложения, с воспаленными глазами и длинной верхней губой. День клонился к вечеру, и луч заходящего солнца, проникая через высокое западное окно, падал сбоку на лицо доктора. Стены комнаты, тоже высокие, были почти сплошь заставлены книжными шкафами, а в промежутках между ними отделаны панелями. Под боком у доктора стоял покрытый зеленым сукном стол, на нем серебряный «чернильный прибор», как привык выражаться хозяин кабинета, то есть поднос с несколькими перьями, одной или двумя книгами в переплете из телячьей кожи, бумагами, длинной курительной трубкой, фляжкой в оплетке и рюмкой для ликера. Время действия — 1730 год, декабрь, четвертый час.

Вот и все, что заметил бы поверхностный наблюдатель, случайно заглянувший в комнату. Что же открывалось взору доктора Аштона, когда тот, не вставая со своего кожаного кресла, взглядывал в окно? Кроме верхушек кустов и плодовых деревьев, глазу была доступна почти на всем ее протяжении кирпичная западная стена сада. В середине ее помещались ворота — двойная решетка из кованого железа, довольно искусной работы. Сквозь решетку виднелся край обрыва — внизу, как можно было предположить, протекала река; на противоположном берегу, тоже крутом, раскинулся луг, более походивший на парк; он был густо утыкан дубами — разумеется, голыми в это время года. Впрочем, дубы росли не настолько плотно, чтобы полностью скрыть из виду небосклон и линию горизонта. Небо пылало золотом, а горизонт, где смутно угадывался отдаленный лес, окрасился в пурпурные тона.

Странно, что доктор Аштон, понаблюдав это зрелище некоторое время, не изрек ничего другого, кроме: «Ужасно!»

Немедленно вслед за тем свидетель уловил бы частый стук шагов, приближавшихся к кабинету. Судя по отзвуку, он заключил бы также, что комната, откуда они доносятся, очень велика

сравнительно с кабинетом. Доктор Аштон развернулся и уставил взгляд в растворившуюся дверь. На пороге появилась полная дама, одетая по тогдашней моде. Охарактеризовав в нескольких словах костюм доктора, я не возьмусь все же описывать наряд его жены, — а вошедшая была не кем иным, как супругой этого почтенного человека. Вид у нее был тревожный, точнее, даже расстроенный. Низко наклонившись к мужу и задыхаясь от волнения, она проговорила едва слышно:

— Положение плачевное, дорогой, ему стало еще хуже!

— Да что ты говоришь? — Доктор Аштон откинулся на спинку кресла и всмотрелся в лицо жены. Та кивнула.

Откуда-то сверху, с недалекого расстояния, донеслись два торжественных удара колокола — пробило половину четвертого. Миссис Аштон вздрогнула:

— Нельзя ли распорядиться, чтобы заглушили церковные часы? Они находятся как раз над его комнатой и не дают ему уснуть, а сон сейчас для него единственное спасение.

— Ну что ж, в случае нужды, но только крайней нужды… Можешь ты утверждать, что речь

действительно идет о жизни и смерти Фрэнка? — Голос доктора Аштона звучал громко и несколько сурово.

— Я в этом уверена.

— Раз так, то вели Молли сбегать к Симпкинсу, пусть скажет, чтобы вечером отключил механизм. Да… а потом пусть передаст милорду Солу, что я желаю его видеть теперь же, здесь, в кабинете.

Миссис Аштон поспешно удалилась.

А прежде чем заявится еще какой-нибудь посетитель, мне следует прояснить ситуацию.

Доктор Аштон, обладатель высоких церковных постов, был, в частности, пребендарием коллегиальной церкви в Уитминстере. Эта церковь, не соборная, но все же большая и богатая, принадлежала к числу тех, что, пережив закрытие монастырей и Реформацию, сохраняли свой устав и привилегии не только в то время, о котором идет речь в моем рассказе, но и веком позже. Большое церковное здание, дома дьякона и двух пребендариев, хоры и их убранство — все осталось нетронутым и годным к употреблению. Благодаря одному из дьяконов, развернувшему здесь в начале шестнадцатого века бурное строительство, церковь обзавелась домом для

священнослужителей — четырехугольной пристройкой из кирпича, с внутренним двориком. Однако со временем некоторые церковные должности сделались чисто номинальными, назначались на них необязательно особы духовного звания и при церкви эти лица не жили. Так и получилось, что строения, служившие в свое время приютом восьми-десяти обитателям, ныне были предоставлены в распоряжение всего троим: дьякону и двум пребендариям.

Доктору Аштону достались два помещения, служившие некогда общей гостиной и столовой и столь обширные, что занимали полностью целое крыло дома. Через одну из дверей апартаменты нашего достойного богослова сообщались непосредственно с церковью, а вид из окон, находившихся в противоположном их конце, вам уже знаком.

Но довольно о доме, настал черед поговорить о его обитателях. Доктор Аштон, человек состоятельный и бездетный, усыновил или, вернее, взял на воспитание племянника своей жены. Фрэнк Сидалл, сын сестры миссис Аштон, жил здесь уже не первый месяц.

Затем в один прекрасный день доктор Аштон получил письмо от пэра Ирландии графа Кил-

донана, своего соученика по колледжу. Граф спрашивал бывшего однокашника, не согласится ли тот принять под временную опеку и воспитать его наследника, виконта Сола. Вскоре лорд Килдонан отправлялся в Лиссабон, где ему был предложен пост в посольстве, а взять в поездку мальчика не представлялось возможным. «Не то чтобы он болен, — писал граф, — но с причудами, то есть так *я* считаю с недавних пор, а сегодня, к примеру, его старая няня прямо заявила, что Сол одержим бесом. Ну да ладно; уверен, у тебя найдется нужное заклинание. Припоминаю, какие в дни молодости у тебя были крепкие кулаки, — вот и не стесняйся пускать их в ход по своему усмотрению. Все дело в том, что Солу здесь не с кем дружить: ни одного подходящего мальчика его возраста. Ну мальчишку и носит черт по развалинам и кладбищам, а после этого он насочиняет таких басен, что слуги пугаются до полусмерти. Теперь вы с женой знаете, с чем вам предстоит иметь дело». В дальнейших строках письма улавливался туманный намек на епископский сан, и доктор Аштон не без учета этого обстоятельства решился взять на себя заботу о лорде виконте Соле, а заодно принять вознаграждение — двести гиней в год.

И вот в один из сентябрьских вечеров лорд Сол прибыл. Выйдя из почтовой кареты, он прежде всего сказал несколько слов почтальону, дал ему денег и похлопал по загривку лошадь. Возможно, неосторожным движением он напугал животное; во всяком случае, лошадь резко рванула с места, застигнутый врасплох почтальон свалился на землю и, как обнаружилось впоследствии, потерял чаевые, карету оцарапало о воротный столб, а колесо проехалось по ступне слуги, вынимавшего багаж. Лорд Сол поднялся по ступенькам к ожидавшему его доктору Аштону, и в свете фонаря богослов увидел перед собой худосочного юнца лет шестнадцати, с прямыми черными волосами и, как следовало ожидать, бледного. К происшествию он отнесся достаточно хладнокровно, однако, как полагается, выказал озабоченность состоянием всех тех, кто пострадал или же подвергся опасности. Странно, что в его ровном и приятном голосе не улавливалось ни малейшего ирландского акцента.

Фрэнк Сидалл был помладше — лет одиннадцати-двенадцати, но лорд Сол не отверг по этой причине его общество. Оказалось, что Фрэнк знает много игр, неизвестных в Ирландии, и лорд Сол ими заинтересовался. С охотой он взялся и

за учебу, хотя дома занимался мало и от случая к случаю. Вскоре юный лорд уже ловко расшифровывал надписи на гробницах в церкви и задавал доктору Аштону столь каверзные вопросы по поводу старинных книг, что приходилось немало поломать голову, прежде чем ответить. Новому воспитаннику удалось, вероятно, завоевать симпатии слуг: со дня его прибытия не прошло и двух недель, а те уже вовсю соперничали в стремлении угодить ему. Миссис Аштон, однако, столкнулась с некоторыми трудностями, когда подыскивала новых служанок. В штате пришлось сделать несколько замен, а в тех городских семействах, которые до сих пор исправно поставляли девушек для этой цели, на сей раз кандидатур не оказалось. Обстоятельства вынудили жену священника расширить поле поиска.

Мой краткий рассказ до сих пор основывался на дневниках и письмах доктора. Составлен он действительно в самых общих чертах, а нам, с учетом того, о чем пойдет речь в дальнейшем, не мешало бы знать подробности. Тут нам помогут позднейшие записи, сделанные, как я подозреваю, постфактум, но, поскольку охватывают они краткий промежуток времени (всего лишь несколько дней), можно не опасаться, что автора

подвела память.

Начнем с того, что черный петух, особо ценимый миссис Аштон за абсолютную однотонность оперения, стал добычей то ли лисы, то ли кошки. Произошло это в пятницу утром. У мужа вошло в привычку повторять, что более подходящей жертвы Эскулапу днем с огнем не сыщешь. Шутка эта неизменно расстраивала миссис Аштон, а теперь достойная леди была просто безутешна. Мальчики осмотрели все вокруг. Лорд Сол принес несколько полуобгоревших перьев, найденных в мусорной куче.

В тот же день доктор Аштон, выглянув в верхнее окошко, обнаружил, что мальчики занимаются в углу двора какой-то непонятной игрой. Фрэнк с серьезным видом изучал некий предмет у себя на ладони. Сол стоял позади него и как будто прислушивался. Через некоторое время он осторожно коснулся макушки Фрэнка. Мальчик тут же выронил то, что держал в руке, закрыл лицо руками и рухнул на траву. Сол с очень злым видом подобрал упавший предмет (кроме блеска, доктор ничего не смог разглядеть), сунул его в карман и отвернулся, не обращая внимания на Фрэнка, который бесформенной кучей лежал в траве. Доктор Аштон постучал по оконной раме.

Сол испуганно поднял глаза, подскочил к Фрэнку, рывком поднял его на ноги и увел.

За обедом Сол объяснил, что они с Фрэнком разыгрывали сцену из трагедии «Радамист», в которой героиня читает в стеклянном шаре будущее царства, где правит ее отец, и, устрашившись того, что ей открылось, лишается чувств. Фрэнк молчал, растерянно глядя на Сола. Миссис Аштон подумалось, что племянник, вероятно, подхватил простуду, лежа на мокрой траве: ему весь вечер было не по себе. Кроме лихорадки, его донимало беспокойство, и он искал случая поговорить с тетей, но неотложные домашние дела не оставили ей ни одной свободной минуты. Когда же она, по обыкновению, зашла в комнату мальчиков проследить, чтобы унесли свечи, и пожелать воспитанникам доброй ночи, Фрэнк казался спящим, разве что лицо у него как-то странно раскраснелось. Лорд Сол же был бледен, спал спокойно и во сне улыбался.

На следующее утро церковные и прочие обязанности отвлекли доктора Аштона от занятий с мальчиками. Поэтому он дал им письменное задание, велев показать готовую работу ему. Фрэнк стучался в двери кабинета раза три, а то и больше, но по случайности у доктора оказыва-

лись посетители, и он отсылал мальчика прямо от порога, о чем впоследствии горько пожалел. Двое приглашенных к обеду священников, оба отцы семейства, заметили опытным глазом, что Фрэнка лихорадит. К сожалению, мальчика не уложили тотчас в постель, а следовало бы: двумя часами позже ребенок влетел в дом весь в слезах и бросился в объятия миссис Аштон, прося ее защиты и непрерывно повторяя: «Уберите их! Уберите!» Тут уж всем стало ясно, что Фрэнк не на шутку расхворался. Мальчика тут же уложили в постель (не в его спальне, а в другой комнате) и вызвали врача. Тот объявил, что болезнь весьма опасна, затронут мозг и от печального исхода больного могут спасти лишь абсолютная тишина в доме и прописанные успокоительные средства.

И вот мы приближаемся к той точке, с которой начали рассказ. Механизм, управляющий боем церковных часов, остановлен, и на пороге кабинета появляется лорд Сол.

— Что вам известно о причине болезни бедного мальчугана? — Таков был первый вопрос, заданный священником.

— Да я почти все уже рассказал вам, сэр. Никогда себе не прощу, что перепугал его вчера, когда мы представляли ту самую дурацкую пьесу. Это

из-за меня, наверное, он принял ее так близко к сердцу.

— Что вы имеете в виду?

— Я рассказывал разные глупые истории о втором зрении — так это называется в Ирландии.

— Что же это за второе зрение?

— Да вот, в неученом народе ходят россказни о том, что кое-кому из людей дано предугадывать будущее — видеть его в зеркале, например, или просто в воздухе. Одна старуха у нас в Килдонане утверждала, будто обладает таким умением. Не следовало мне, наверное, все это так расписывать, но кто знал, что Фрэнк примет мои слова всерьез.

— Дурно, очень дурно было с вашей стороны, милорд, занимать себя подобными суевериями, а тем более рассуждать о них в доме духовного лица; вам следовало помнить о том, где вы находитесь. Разговоры такого рода несовместимы с моим положением, равно как и с вашим. Но что же именно так напугало Фрэнка, пока вы, по вашим словам, разыгрывали пьесу?

— Трудно сказать, сэр; в роли шла речь о битвах, о влюбленных, о Клеодоре и Антигене, но потом Фрэнк внезапно начал нести что-то несусветное и в конце концов упал — вы это видели.

— Да, но произошло это в тот миг, когда вы положили руку ему на макушку?

Ответом был лишь молниеносный злобный взгляд — впервые лорд Сол пришел в видимое замешательство.

— Возможно, — ответил он, помолчав. — Я пытаюсь припомнить, но не вспоминается. Да это и не важно.

— Вот как! В таком случае, милорд, обязан вам сказать, что этот испуг может оказаться для моего племянника роковым. Доктор считает его состояние угрожающим. — Лорд Сол, сложив руки, серьезно смотрел на доктора Аштона. — Мне хотелось бы верить, что дурных намерений у вас не было, да и с чего бы вам желать зла бедному мальчику; но вину за происшедшее я с вас полностью не снимаю.

Тут вновь послышались торопливые шаги, и в комнату — со свечой в руке, так как уже сгущались сумерки, — влетела взволнованная миссис Аштон.

— Скорей, — прорыдала женщина, — идем, бога ради! Он отходит.

— Отходит? Фрэнк? Как же так? Уже? — Издавая эти невнятные восклицания, доктор схватил со стола молитвенник и ринулся за женой.

Лорд Сол немного помедлил. Молли, горничная, видела, как он согнулся и спрятал лицо в ладонях. Позднее она говорила, что уверена и чем угодно готова поклясться: это он смеялся. Затем он не спеша последовал за остальными.

Как это ни печально, миссис Аштон оказалась права. Если бы я пожелал описать сцену прощания в подробностях, пришлось бы пустить в ход воображение. Доктор Аштон рассказал лишь о том, что имело (или могло иметь) отношение к дальнейшему развитию событий. Фрэнка спросили, не пожелает ли он увидеться со своим товарищем, лордом Солом. В ту минуту мальчик, по-видимому, пришел в себя.

— Нет, — ответил он, — не хочу. Но передайте ему, что теперь ему будет очень холодно.

— О чем это ты, мой милый? — спросила миссис Аштон.

— Да так, но вы ему это передайте. А кроме того, скажите, что я от них теперь избавился, но он пусть смотрит в оба. И еще, тетя: вы уж меня простите за вашего черного петуха, но Сол сказал, что он нам нужен, иначе мы ничего не увидим.

Через несколько минут мальчика не стало. Горе тетки можно понять, но и для доктора, человека не особенно чувствительного, эта смерть

стала тяжелым ударом: во-первых, столь ранний уход из жизни всегда трагичен, а во-вторых, доктор заподозрил, что Сол сказал не всю правду и обстоятельства таят в себе какую-то загадку. Пришло время покинуть комнату умершего и отправиться через двор к дому пономаря. Нужно было распорядиться, чтобы прозвонили в самый большой церковный колокол — похоронный — и приготовились рыть могилу на кладбище при церкви. Кроме того, следовало запустить механизм церковных часов, бой которых уже не нарушит покой больного. На обратном пути, медленно пересекая в темноте двор, священник подумал, что нужно еще раз поговорить с лордом Солом. Эта история с черным петухом… казалось бы, пустяк, однако нельзя не выяснить, в чем тут дело. Не исключено, что это причуда больного воображения, но если нет? Доктору Аштону как-то попали в руки материалы процесса о ведовстве, где был упомянут, в частности, некий мрачный ритуал жертвоприношения. Да, ему необходимо повидать Сола.

Я скорее догадываюсь о его мыслях, чем черпаю их из письменного источника. Повторный разговор состоялся, в этом нет сомнения. Определенно известно также, что Сол не пожелал (или не смог,

согласно его собственному утверждению) пролить свет на предсмертные слова Фрэнка. Однако сами эти слова — возможно, не все, а лишь некоторые — повергли его в ужас. О подробностях этого разговора в записях доктора сведений не отыскалось. Упомянуто только, что весь тот вечер Сол просидел в кабинете своего наставника, а когда пришла пора пожелать доброй ночи (что Сол проделал с явной неохотой), он попросил доктора молиться за него.

К концу января лорд Килдонан получил в лиссабонском посольстве письмо, которое нарушило привычное безоблачное спокойствие этого пустого человека и равнодушного отца. Сола больше не было в живых.

В тот печальный день, когда хоронили Фрэнка, погода стояла ужасная: мрак, ветер. Люди, несшие гроб, все время спотыкались, ослепленные краем траурного покрова. Они едва доковыляли от церковного крыльца до могилы. Миссис Аштон оставалась у себя (в те времена женщинам не полагалось присутствовать на похоронах родственников), а Сол на кладбище явился, в приличествующей случаю одежде. Бледный и застывший, он походил на мертвеца, но окружающие заметили, что раза три или четыре он

внезапно оглядывался через левое плечо. На его лице читались ужас и напряженное ожидание. Куда он скрылся после похорон, не знал никто; в тот вечер его больше не видели. Всю ночь буря колотилась в высокие церковные окна, завывала в горах и бушевала в лесу. Искать мальчика было бесполезно — ни откликов, ни криков о помощи никто бы не услышал. Доктору Аштону оставалось только предупредить окрестный люд и городских констеблей, а затем сидеть и ждать новостей — и он их дождался.

Ранним утром по лестнице торопливо взбежала растрепанная горничная. Ее прислал пономарь, в обязанности которого входило открывать церковь в семь часов для ранних посетителей. Вместе с пономарем доктор Аштон бросился к южному порталу церкви и нашел там лорда Сола, отчаянно уцепившегося за большое дверное кольцо. Голова мальчика бессильно свисала, босые (если не считать изодранных в клочья чулок) ноги были запятнаны кровью.

Именно это пришлось узнать лорду Килдонану, и тут первая часть нашей истории заканчивается. Фрэнк Сидалл и лорд виконт Сол, единственный сын и наследник Уильяма графа Килдонана, покоятся под одной и той же каменной плитой на

кладбище при Уитминстерской церкви.

Доктор Аштон прожил еще более трех десятков лет. Обитал он все в том же доме; было ли его существование спокойным, не знаю, но, во всяком случае, таковым оно казалось. Его преемник предпочел жить в собственном доме в городе, и покои старшего пребендария опустели. Тем временем успел смениться век: мистер Хайндз, преемник Аштона, сделался пребендарием в двадцать девять лет, а умер в восемьдесят девять. Случилось так, что ни один из позднейших наследников этой должности не пожелал поселиться в доме при церкви, пока в 1823-м или 1824 году пребендарием не стал доктор Генри Олдис, известный, возможно, некоторым читателям как автор, чье имя, рядом с надписью «Труды», можно найти на корешках нескольких томов, украшающих собой самые почетные (ибо они почти что неприкосновенны) полки многих солидных библиотек.

Доктору Олдису, его племяннице и их слугам понадобился не один месяц, чтобы привести все в порядок и расставить по местам мебель и книги, привезенные из пасторского дома в Дорсетшире. Но вот работа была завершена, дом, прежде необитаемый, но бережно хранимый и защищенный от непогоды, пробудился и, подобно усадьбе

Монте-Кристо в Отее, вновь зажил, зазвучал и зацвел. Особенно красивым он казался в одно июньское утро, когда доктор Олдис прогуливался перед завтраком в саду и любовался красной крышей своего обиталища и громоздившейся за нею церковной башней с четырьмя золочеными флюгерами, которые четко вырисовывались на фоне ярко-голубого, с ослепительно-белыми облачками неба.

— Мэри, — проговорил доктор, усевшись за накрытый стол и положив на скатерть какой-то твердый и блестящий предмет, — посмотри, это только что нашел мальчуган. Может, ты догадаешься, что это за штука, а то у меня не хватает ума.

Штука представляла собой диск высотой около дюйма, судя по виду, из чистого стекла и превосходно отшлифованный.

— Во всяком случае, штучка хорошенькая, — отвечала Мэри, красивая девушка, светловолосая и большеглазая, а кроме того, страстная любительница литературы.

— Я знал, что тебе понравится. Вероятно, это из дома. Стекляшка лежала в мусорной куче в углу двора.

Немного помолчав, Мэри произнесла:

— Нет, все же она мне не нравится.

— Но почему же, дорогая?

— Сама не знаю. Наверное, разыгралось воображение.

— И есть от чего разыграться. Напомни-ка мне, что за книгу ты читала вчера? Как она называется?

— «Талисман», дядя. Вот если бы это оказался талисман, как было бы замечательно!

— Да, «Талисман». Ну что ж, читай дальше, если хочешь, а мне нужно отлучиться по делам. В доме все в порядке? Ты всем довольна? Слуги ни на что не жалуются?

— Ну что ты, дядя, здесь просто чудесно. Разве что замок в бельевом шкафу — о нем ты уже слышал; и еще soupçon[6] — миссис Мейпл говорит, что никак не может избавиться от мошек в проходной комнате, по ту сторону холла. По ее словам, это пилильщик. Кстати, тебе уютно в твоей спальне? Она ведь на отшибе.

— Ну а как же! Чем дальше от тебя, дорогая, тем лучше. Нет, нет, только без рукоприкладства — прими мои извинения, и забудем об этом. Но скажи, что это за пилильщик такой? Он не сожрет

---

[6] Примечания: 6
Подозрительно *(фр.)*

мою одежду? Если нет, то пусть себе живет. Нам ведь не нужна та комната?

— Нет, конечно нет. А насекомое, которое миссис Мейпл называет пилильщиком, такое красноватое вроде долгоножки, но помельче. Их там видимо-невидимо. Не то чтобы они мне нравились, но вреда от них, думаю, нет никакого.

— Такое прекрасное утро, а тебе то одно не нравится, то другое, — съязвил на прощание дядюшка, закрывая за собой дверь. Не вставая с кресла, мисс Олдис принялась рассматривать лежавший у нее на ладони стеклянный диск. Улыбка постепенно исчезла с ее лица и уступила место удивлению и напряженному вниманию. От раздумий мисс Олдис отвлек приход миссис Мейпл, которая начала разговор привычной фразой: «О, мисс, можно вас на два слова?»

Ниже я привожу письмо мисс Олдис к ее подруге в Личфилде, послужившее одним из письменных источников при составлении этой истории. Мисс Олдис начала его писать днем или двумя ранее. Стиль автора явно несвободен от влияния мисс Анны Сьюард, известной как Личфилдский Лебедь, вдохновительницы и кумира мыслящих дам своего времени.

«Дражайшая моя Эмили, для тебя, не сомнева-

юсь, удовольствием будет узнать, что мы с моим любезным дядюшкой обосновались наконец в доме, где, подобно столь многим здешним обитателям в прежние века, со всех сторон слышим: «Хозяин, хозяйка». Мы услаждаемся здесь одновременно и новейшим изяществом, и наследием седой древности. Такой благоприятной возможности жизнь никогда нам прежде не дарила.

Городок наш невелик, но местной публике не вовсе чужды радости утонченной беседы: бледное, но верное ее подобие можно слышать и в этих краях. В соседних местностях, среди владельцев разбросанных повсюду имений есть немало таких, кто ежегодно оттачивает свои светские таланты в столице; нередки здесь и обладатели иных, более скромных, но не менее приятных достоинств, а именно домовитости и радушия.

Когда же нам наскучивают дружеские беседы в гостиных наших соседей, когда утомляет болтовня и обессиливают состязания в остроумии, мы находим убежище под сенью величавых красот нашей почтенной церкви, чьи серебряные колокола ежедневно «призывают нас к молитве», в тени тихого кладбища, где сердце исходит благой печалью, а глаза то и дело источают влагу при виде замшелых плит, скрывших под собой равно

и юных, и прекрасных, и почтенных, и мудрых, и добросердечных».

В этом месте резко меняется как содержание, так и стиль письма.

«Но, милая Эмили, я не могу и далее сочинять свой рассказ с тем тщанием, какого ты заслуживаешь. Придется лишить этого удовольствия и тебя, и себя, ибо теперь мне предстоит поведать нечто совершенно отличное от всего предыдущего. Этим утром во время завтрака дядя показал мне странный предмет, найденный в саду: это кусочек стекла или хрусталя такой формы, как показано на рисунке. Дядя дал эту стекляшку мне; после завтрака он ушел, а стеклянный диск остался лежать на столе у меня перед глазами.

Сама не знаю почему, но несколько минут я рассматривала его не отрываясь, пока не пришлось зачем-то уйти. Ты будешь смеяться, но мне показалось тогда, что в стекле отражаются предметы и сцены, в реальности не существующие. Тебя не удивит, однако, следующий мой поступок: я воспользовалась первой же возможностью уединиться в своей комнате с таинственным предметом, обладающим, может статься, свойствами могущественного талисмана. И я не была разочарована. Уверяю тебя, Эмили, клянусь тем,

что нам обеим всего дороже: происшедшее со мной в тот день я сама при других обстоятельствах сочла бы невероятным.

Вот краткий рассказ о том, что я увидела, сидя в своей спальне среди бела дня и вглядываясь в глубины кристалла. Во-первых, там открылась совершенно незнакомая мне картина: бугристая поляна, ощетинившаяся неровной травой, в середине развалины серого каменного сооружения, а вокруг — стены из дикого камня. На поляне стояла уродливая старуха в красном плаще и изорванной юбке и беседовала с мальчиком, одетым так, как было принято лет сто назад. Старуха вложила ему в руку какой-то блестящий предмет, а он протянул ей деньги — это я разглядела, потому что рука у старухи дрожала и одна монета упала в траву. Видение исчезло. Кстати, на стене, окружавшей поляну, я заметила нагромождение костей и среди них даже один череп.

Затем я увидела двоих мальчиков, один прежний, а другой незнакомый, младше первого. Они находились в саду, обнесенном стеной. В нем многое изменилось, и деревья теперь большие, но я узнала: на этот самый сад я смотрю сейчас в окно. Мальчики были заняты, скорее всего, какой-то игрой. На земле как будто что-то тлело.

Старший мальчик наклонился, коснулся того, что там лежало, а потом воздел руки к небесам, будто в молитве. Я вздрогнула, заметив на них пятна крови. Небо было затянуто тучами.

Мальчик обернулся к стене и призывно взмахнул обеими руками, воздетыми вверх. Поверх стены что-то задвигалось: головы или другие части тела, животных или людей — не могу сказать. Старший мальчик резко повернулся, схватил за руку младшего (тот не сводил глаз с предмета, лежавшего на земле), и оба бросились бежать. На траве остались пятна крови, кучка кирпичей и разбросанные вокруг черные перья (так мне показалось). Все исчезло, а следующая сцена разыгралась в такой темноте, что я почти ничего не разобрала. Если зрение меня не подвело, то там меж деревьев или кустов пробирался, припадая к земле, какой-то человек, а деревья гнул и жестоко трепал ветер. Потом человек помчался со всех ног, то и дело обращая назад бледное лицо, словно от кого-то спасался. И в самом деле, за ним гнались. Преследователей я не разглядела; было их трое или четверо, сказать не могу. Больше всего они походили на собак, но необычных.

Я готова была в ужасе закрыть глаза, но это оказалось не в моей власти. Наконец жертва бро-

силась под арку, за что-то ухватилась и застыла. Преследователи накинулись на нее, и мне послышался крик отчаяния. Наверное, я лишилась чувств: помню, что пробуждаюсь и перед глазами свет, а прежде была тьма. Вот и все мое видение, Эмили, — иначе это не назовешь. Я ничего не прибавила и не убавила. Как ты считаешь, не стала ли я невольной свидетельницей трагедии, связанной с этим домом?»

Мисс Олдис продолжила письмо на следующий день:

«Я отложила перо, не успев рассказать тебе обо всем, что произошло вчера. Дяде я ни словом не обмолвилась о своих приключениях: ты же его знаешь — это само воплощение здравомыслия. Он предложил бы мне поправить здоровье александрийским листом или стаканчиком портвейна. Вечер прошел тихо — не в угрюмом молчании, а просто тихо, — и я отправилась спать. Представь себе мой испуг, когда, укладываясь в постель, я услышала рев — иного слова не подберу — и узнала голос дяди, хотя даже не подозревала, что он способен издавать такие звуки.

Дядюшкина спальня располагается в самом конце нашего громадного дома. Добираться туда приходится через старинный холл (а его длина

восемьдесят футов), парадную комнату с панелями и две незанятые спальни. Во второй из этих спален, полупустой комнате, и обнаружился мой дядюшка. Свечу он уронил на пол, и в помещении стояла темень.

Едва я с лампой в руке вбежала внутрь, как дядя обхватил меня трясущимися руками (раньше они у него никогда не дрожали) и, вознося благодарность небесам, увлек прочь. Он не признался, что его так напугало; кроме «завтра», я не добилась от него ни слова. Ему быстро соорудили постель в комнате, соседствующей с моей спальней. Спалось ему, думаю, не лучше, чем мне. Я задремала лишь под утро, когда уже начало светать, и видела кошмарные сны. Один из них так врезался мне в память, что придется пересказать его на бумаге: иначе от него не отделаться.

Мне приснилось, что я вхожу в свою комнату, полная дурных предчувствий, и подхожу к комоду, хотя прикасаться к нему мне почему-то очень не хочется. Открываю верхний ящик — там только ленты и платки, следующий — там тоже ничего страшного, и, наконец, — Господи помилуй! — третий и последний. Он заполнен аккуратно сложенным бельем, и тут мое любопытство постепенно сменяется ужасом, так как в

белье что-то шевелится, из складок высовывается красная рука и начинает шарить в воздухе. Не выдержав, я бросаюсь вон, захлопываю дверь и пытаюсь ее запереть, но ключ не поворачивается в замке, а из комнаты доносятся шуршание и глухой стук — все ближе и ближе. Мне бы броситься вниз по лестнице, а я, как приклеенная, цепляюсь за ручку двери. Кто-то со страшной силой дергает дверь, и тут я, слава богу, просыпаюсь. Ты скажешь, что же в этом страшного, но я перепугалась, и еще как.

За завтраком дядя словно воды в рот набрал: видно, стыдился, что всполошил нас ночью. Но потом он спросил меня, в городе ли мистер Спирман, и добавил, что у этого молодого человека, не в пример прочим, голова на плечах имеется. Тебе известно, дорогая Эмили, что я и сама склоняюсь к такой мысли, а кроме того, вопрос был обращен по адресу. Дядя отправился к мистеру Спирману и до сих пор не возвращался. Придется отослать тебе этот ворох новостей сейчас, иначе придется ждать следующей почты».

Если кого-либо из читателей осенила догадка, что за этим письмом — а отправлено оно было в июне — последует свадьба, то он может себя поздравить: проницательность ему не измени-

ла. Мистер Спирман, молодой франт, владелец богатого имения близ Уитминстера, в то время неоднократно, ссылаясь на дела, задерживался на день-другой в городе, в гостинице «Королевская голова». Тем не менее у него оставалось достаточно времени, чтобы вести подробный дневник, особенно в те дни, о которых я веду рассказ. Не исключено, что столь подробный отчет об интересующих нас событиях он составил по просьбе мисс Мэри.

«Утром заходил дядя Олдис (вскоре, надеюсь, у меня появится законное право называть его дядей!). Поболтал о том о сем, а потом сказал:

— А теперь, Спирман, я должен поведать вам нечто странное и прошу, пока никому об этом ни слова. Я еще сам не разобрался, в чем тут дело.

— Можете на меня положиться, — отвечаю.

— Не знаю, что и думать. Произошло следующее. Как вы знаете, моя спальня расположена на отшибе. Чтобы туда попасть, нужно пересечь большой холл и еще две-три комнаты.

— Это в том конце, где дом примыкает к церкви?

— Да. Ну так вот, вчера вечером Мэри упомянула, что в ближайшей к моей спальне комнате обнаружились какие-то мошки и экономка никак

не может от них избавиться. Может, это все из-за них? Как по-вашему?

— Но я еще не знаю, что произошло.

— А, ну да, в самом деле. Скажите-ка, что представляет собой пилильщик? Какого он размера?

Я засомневался, все ли у него в порядке с головой.

— Пилильщиком я называю, — начал я объяснять очень терпеливо, — красное насекомое, похожее на долгоножку, но помельче, длиной около дюйма или меньше. Оно твердое на ощупь и, я бы сказал… — Я хотел продолжить: «очень гадкое», но Олдис меня прервал:

— Нет, не больше дюйма — это не то.

— Я просто излагаю то, что мне известно. Но не лучше ли будет, если вы расскажете, что с вами приключилось, и тогда я смогу поделиться своим мнением.

Он смерил меня задумчивым взглядом:

— Возможно, возможно. Не далее как вчера я заметил, беседуя с Мэри, что вы, как мне кажется, не лишены сообразительности. — Я поклонился в знак признательности. — Дело в том, что мне сковывает язык какая-то непонятная робость. Ничего подобного со мной доселе не случалось. Так вот, вчера ночью, в одиннадцать или чуть позже,

я, прихватив свечу, отправился к себе. В левой руке я держал книгу: люблю перед сном немного почитать. Привычка опасная, не советую брать с меня пример, но я всегда крайне осторожно обращаюсь со свечами и с кроватным пологом.

Итак, прежде всего, когда я вошел в холл и закрыл за собой дверь кабинета, свеча потухла. Я решил, что захлопнул дверь слишком резко и свечу загасило сквозняком. Это было неприятно, ведь трутницу взять было негде, кроме моей собственной спальни. Но дорога мне знакома, так что я двинулся вперед. И тут новое происшествие: в потемках кто-то выбил, вернее сказать, вырвал у меня книгу. Я подобрал ее с пола и пошел дальше. Если вначале я испытывал раздражение, то теперь к нему добавился легкий испуг. Но вы видели наш холл: окон много, и все без занавесок. Летней ночью легко разглядеть не только мебель, но и любой движущийся предмет. Таковых в комнате не было — в этом я убедился.

Итак, я прошел холл, приемную, где тоже большие окна, а в пустых спальнях, примыкающих к моей, где занавески задернуты, замедлил шаги: местами там попадаются ступеньки. И вот во второй из этих комнат я едва не нашел свой конец. Не успев еще открыть дверь, я почувствовал:

в комнате что-то не так. Должен признаться, у меня мелькнула мысль повернуть и добраться до спальни другим путем. Но тут же я устыдился и одумался (хотя не уверен, что это слово в данных обстоятельствах уместно).

Попытаюсь описать свои ощущения как можно точнее. Со всех сторон до меня доносился негромкий шорох, а далее (напомню, что вокруг было темно хоть глаз выколи) что-то ткнулось мне в лицо, и я ощутил — на лице, на затылке, на всем теле — тонкие конечности или щупальца. Касание было легким, но подобного ужаса и отвращения я прежде в жизни не испытывал, а кроме того, освободиться оказалось не так уж просто. Я завопил что было мочи, наудачу швырнул в темноту свечу, потом бросился к окну — я знал, что оно в двух шагах. Когда занавеска была отдернута и в комнату проник свет, я разглядел в воздухе, судя по очертаниям, ножку насекомого, но, боже мой, какого же исполинского размера! Насекомое было ростом с меня, не ниже. А вы говорите, что пилильщик размером не превышает дюйм. Что вы обо всем этом думаете, Спирман?

— Ради бога, доведите сперва свою историю до конца. В жизни ничего подобного не слышал!

— Да больше и рассказывать нечего. Вбежала

Мэри с лампой, но комната уже была пуста. О том, что произошло, я умолчал. Ночевать я устроился в другой комнате и в свою спальню возвращаться не собираюсь.

— А вы осмотрели место происшествия? Что у вас там хранится?

— Ничего. Там нет ничего, кроме старого шкафа и еще кое-какой мебели.

— А в шкафу что?

— Не знаю. Никогда его не открывал, мне известно только, что он на замке.

— Я бы охотно туда заглянул, и, признаюсь, сгораю от любопытства. Если вы не заняты, не могли бы вы показать мне комнату?

— Не решался вас пригласить, но, честно говоря, именно это я и надеялся услышать. Жду вас в любое удобное время.

— Лучше всего прямо сейчас, — поспешил сказать я, понимая, что ни о чем другом он в эту минуту думать не может.

Мистер Олдис живо вскочил; в его взгляде читалось одобрение (так мне хотелось бы думать). Но он был краток: «пошли» — вот все, что я услышал в ответ. Мы молча отправились в путь. В доме к нам присоединилась наша Мэри (при посторонних — его, а когда мы вдвоем — моя). Доктор уже

успел намекнуть племяннице на пережитый испуг, но чем он был вызван, не признался. Теперь же он очень кратко посвятил ее в происшедшее. В первой из пустующих спален доктор Олдис остановился и пропустил меня вперед:

— Вот эта комната, входите, Спирман, и скажите, что вы там увидите.

Не знаю, как бы я повел себя в полночь, но, будучи уверен, что среди бела дня ничего страшного не случается, я ничтоже сумняшеся распахнул дверь и вошел.

Это оказалась светлая комната, с большим окном справа, но при этом довольно унылая на вид. Из мебели первым делом бросался в глаза узкий и высокий странный шкаф из темного дерева. Стояли здесь также кровать со столбиками для полога (голый остов, весь на виду) и комод. На полу рядом с комодом и на подоконнике валялись сотни дохлых насекомых; среди них я обнаружил одно, еще шевелившееся, и не без удовольствия его прикончил. Я подергал ручку — шкаф не открывался; ящики комода также были заперты. Откуда-то доносился едва различимый шелестящий звук — откуда именно, я не понял и предпочел о нем умолчать. Ясно, заявил я, что нашим следующим шагом должен быть

осмотр шкафа и комода. Дядя Олдис повернулся к Мэри. «Миссис Мейпл», — коротко бросил он, и Мэри поспешила прочь (второй такой походки в целом свете не найдешь). Вскоре она вернулась, ступая на сей раз медленнее, — в сопровождении полной дамы со смышленым лицом.

— Нет ли у вас ключей от шкафа и комода, миссис Мейпл?

В ответ на простой вопрос дяди Олдиса хлынул поток слов (не то чтобы бурный, но обильный). Если бы судьба даровала миссис Мейпл более высокое общественное положение, из нее вполне могла бы получиться вторая мисс Бейтс.

— О, доктор, и вы, мисс, и вы тоже, сэр, — заговорила она, приветствуя меня поклоном, — ну как же, ключи! Припомнить бы, как звали того джентльмена, что приходил в день, когда мы принимали здесь хозяйство, а тот джентльмен всем заведовал — пришлось еще подать ему завтрак в малую гостиную, большую мы не успели до конца привести в порядок. Цыпленок, пирог с яблоками, стакан мадеры… Господи Боже мой, вы, мисс Мэри, опять скажете, что я трещу без умолку, но это я только, чтобы разложить по полочкам воспоминания. Ага — Гарднер; точно так же получилось на прошлой неделе с артишоками

и текстом проповеди.

Стало быть, мистер Гарднер отдал мне ключи, и на каждом была бумажка, от какой он двери, а есть и такие, что подходят сразу к двум дверям. Но это двери комнат, а не дверцы шкафов. Да, мисс Мэри, все точно так, как я вам говорю, и вашему дяде, и вам тоже, сэр. А еще тот самый джентльмен дал мне коробку и велел хранить, а когда он ушел, я подумала, что не будет большой беды, если я эту коробку потрясу, все равно ведь она теперь принадлежит вашему дяде, мисс. Так вот, в коробке загремело — как пить дать, там были ключи, не знаю, что другое и подумать. Но от чего эти ключи — известно одному Богу, господин доктор, ведь разве ж я осмелюсь открыть коробку, сэр; такое мне и в голову не приходило.

Спокойствие дяди Олдиса во время этой затянувшейся речи немало меня удивило. Догадываюсь, что Мэри веселилась от души, а что касается доктора, то, по всей видимости, он убедился на опыте, что попытки прервать словоизвержение ни к чему не приведут. Он терпеливо выслушал экономку и лишь затем сказал:

— Вы не могли бы найти эту коробку, миссис Мейпл? Если найдете, будьте любезны принести ее сюда.

Миссис Мейпл наставила на него указательный палец, словно обвиняя или уличая в чем-то.

— Ага, — заговорила она, — если бы у меня спросили заранее, какие слова вы произнесете, доктор, я бы эти самые и назвала. И укоряла я себя не раз и не два, а много-много раз. И когда лежала без сна в постели, и когда сидела в своем кресле — том самом, которое вы, доктор, и мисс Мэри подарили мне в день, когда стукнуло двадцать лет моей службы у вас, а лучшего и представить себе невозможно… Да, мисс Мэри, это истинная правда, как бы ни хотелось кое-кому, чтобы было иначе. «Ну хорошо, — говорила я про себя, — но когда доктор спросит о коробке, что ты ответишь?» Нет, доктор, будь вы похожи на тех хозяев, о которых мне доводилось слышать, а я — на некоторых известных мне слуг, я исполнила бы ваше поручение глазом не моргнув. Но раз уж дела у нас обстоят, приходится признать, так, как сейчас, то ответ у меня только один: если мисс Мэри не пойдет в мою комнату и не поможет мне разложить воспоминания по полочкам — а ей ведь такое приходит порой на ум, что я давным-давно забыла, — то ничего и похожего на ту коробочку (это ведь скорее коробочка, а не большая коробка) нам еще долго-долго не видать.

— Ну что же вы, дорогая миссис Мейпл, не сказали сразу, что вам нужна помощь? — отозвалась моя Мэри. — Нет-нет, ничего не объясняйте; пойдемте скорей к вам и начнем искать.

Обе дамы поспешно нас покинули, но я успел еще услышать, как миссис Мейпл начала пространное объяснение, конец которого, несомненно, прозвучал в самых отдаленных уголках подведомственного ей хозяйства. Мы с дядей Олдисом остались одни.

— Превосходная прислуга, — проговорил он, кивнув в сторону двери. — Дом ведет безупречно, а что до болтовни, то это обычно минуты на три, не больше.

— Как мисс Олдис поможет ей вспомнить, где коробка?

— Мэри? Она усадит ее и начнет расспрашивать о последней болезни тетушки или о том, кто ей подарил фарфоровую собачку, что стоит на каминной полке, — в общем, о вещах совершенно посторонних. А потом, как говорит миссис Мейпл, одно потянет за собой другое, и с удивительной быстротой ей придет на ум то, что требуется. Ну вот, кажется, это уже они.

В самом деле, впереди шествовала с сияющей улыбкой миссис Мейпл, в ее вытянутых руках

покоилась коробка.

— Что я говорила, — воскликнула она, приблизившись, — еще раньше в Дорсетшире? Я сама родом, правда, не оттуда, ну да ладно. Я говорила: «Подальше положишь, поближе возьмешь!» Там она и лежала, куда я ее положила тому уже… сколько? Да два месяца, вот сколько!

Тут коробка перешла в руки дяде Олдису, и мы с любопытством над ней склонились. О миссис Энн Мейпл я забыл и думать, поэтому так и не узнал, в каком месте лежала коробка и каким образом Мэри навела экономку на нужные воспоминания.

Коробка, довольно старая, была перевязана розовой тесьмой и запечатана. Выцветшая чернильная надпись на наклейке гласила: «Дом старшего пребендария, Уитминстер». Внутри оказались два небольших ключа и записка (почерк был тот же, что и на наклейке). Я прочел: «Ключи от Шкафа и Комода, что находятся в пустой Комнате». Ниже стояло:

«Содержимое Шкафа и Комода хранится мною и должно быть хранимо моими преемниками, последующими жильцами Дома, для благородного Семейства Килдонан, буде объявится законный наследник этого имени. Я же, проведя Розыск

всеми доступными мне средствами, пришел к заключению, что сей знатный Род окончательно угас: последний Граф Килдонан, как всем известно, стал жертвой кораблекрушения, а единственный его Сын и Наследник скончался в моем Доме (Бумаги, касающиеся этого прискорбного События, помещены мною в упомянутый Шкаф в году 1753 от Рождества Христова, марта 21).

Полагаю далее, что будущему владельцу ключей, не принадлежащему к Роду Килдонан, следует хранить нетронутым содержимое Шкафа и Комода, если серьезные, угрожающие обстоятельства не вынудят его к обратному. Мнение мое основывается на весомых причинах и, что почитаю за Честь, опирается на авторитет прочих Членов Коллегии Уитминстерской церкви, знакомых с Событиями, о которых здесь идет речь. Т. Аштон, проф. теол., Praeb. senr, У. Блейк, бак. теол., Decanus, Г. Гудман, проф. теол., Praeb. junr.».

— Ага! — воскликнул дядя Олдис. — Угрожающие обстоятельства! Стало быть, чего-то в этом роде он ожидал. Подозреваю, тут замешан этот самый молодой человек. — Доктор указал ключом на строчку со словами «единственный Сын и Наследник». — Как ты думаешь, Мэри? Виконта Килдонана звали Сол.

— Откуда тебе это известно, дядя?

— Это можно узнать хотя бы из «Дебретта» — двух маленьких толстых томиков. Но я говорю о надгробии у липовой аллеи. Там он похоронен. Какая с этим связана история, вот что интересно. Вы не знаете, миссис Мейпл? Кстати, взгляните на своего любимого пилильщика, там, у окна.

У миссис Мейпл оказались, таким образом, одновременно две темы для разглагольствований, и она с полным правом могла отдать должное обеим. Безусловно, со стороны дяди Олдиса было опрометчивым шагом предоставить ей такую возможность. Догадываюсь, впрочем, что он медлил, не решаясь сразу воспользоваться найденными ключами.

— Ох, эти мошки, от них, доктор и мисс, спасу не было дня три или четыре, и вы тоже, сэр, если бы вы только знали! А как они объявились! Когда мы в первый раз вошли сюда, шторы были подняты. Осмелюсь сказать, так было все время за годы до нашего приезда. И ни единой мошки мы не заметили. Потом мы спустили шторы — для этого пришлось повозиться — и так их и оставили, а на другой день я послала сюда Сьюзен с метлой, и не прошло и пары минут, как она выбежала в холл, натыкаясь на мебель, и нам пришлось

прямо-таки сбивать с нее мошек. Облепили весь чепец; да вы не разглядели бы даже, какого цвета у нее волосы; глаз тоже было не видать — вы уж мне поверьте. Счастье еще, что она у нас девушка простая, не из пугливых, — я бы уж точно умом тронулась, едва прикоснувшись к этим мерзким тварям. А теперь они там мертвехонькие валяются. В понедельник-то они еще трепыхались, а нынче у нас четверг… ах нет, пятница. Только подойдешь, а они уже колотятся в дверь, а стоит открыть, так и кидаются, словно сожрать готовы.

Я даже подумала: «А окажись на их месте летучие мыши, что бы с нами тогда было?» И ведь их не прихлопнуть, как обычных мошек. Ну ладно, что ни делается, все к лучшему. А потом еще надгробие. — Миссис Мейпл поспешила перейти ко второму вопросу, пока ее не прервали. — Этих двух несчастных мальчиков. Я сказала «несчастных», но мне вспоминается, как — еще до вашего, доктор и мисс Мэри, приезда — я пила чай с миссис Симпкинс, женой церковного сторожа, а их семейство местное, так ведь? Живут здесь, осмелюсь сказать, сотню лет в этом самом доме. Спросите их о любом надгробии, о любой могиле на кладбище, и они скажут, кто там покоится и

сколько лет прожил. И о том молодом человеке я от него слышала — от мистера Симпкинса, я хочу сказать…

Экономка поджала губы и несколько раз кивнула.

— Расскажите, миссис Мейпл, — проговорила Мэри.

— Продолжайте же, — попросил дядя Олдис.

— Что вы о нем знаете? — вмешался и я.

— Ничего подобного здесь раньше не бывало со времен королевы Марии, папистов и всего такого прочего, — снова заговорила миссис Мейпл. — Ну вот, он здесь жил, в этом самом доме, и они тоже с ним, причем, могу даже сказать, в этой самой комнате. — Экономка тревожно переступила с ноги на ногу.

— Кто это с ним был? Вы имеете в виду жильцов дома? — спросил дядя Олдис подозрительно.

— Да нет, господин доктор, вовсе нет; думаю, он их из Ирландии привез. Жильцы дома даже и представить себе не могли, что он за штучка. Но в городе о его ночных вылазках знал всяк и каждый. А те, из Ирландии, уж такие злыдни, они бы и с ребенка из могилы кожу ободрали. Когда сердце иссохло, то и призрак выходит тощий и уродливый — так мистер Симпкинс говорит. И

вот под конец (по словам мистера Симпкинса) они набросились на него самого — на двери церкви, где они его догнали, до сих пор виден след. Это чистая правда, мистер Симпкинс показывал мне эти отметины. Он был лорд, и окрестили его именем нечестивого царя из Библии; о чем только думали, давая ребенку такое имя!

— Сол его звали, иначе Саул, — вставил дядя Олдис.

— Точно, Саул, спасибо вам, господин доктор. И как раз царь Саул, как сказано в Библии, вызывал духи мертвецов, до того мирно спавших в своих могилах. Ну не чудно ли: молодой лорд носил это самое имя, и дедушка мистера Симпсона видел из своего окна, как он темной ночью бродил по кладбищу со свечой в руке от могилы к могиле, а они следом по траве. А как-то раз, ночью, он подошел прямо к дому старого мистера Симпкинса, к тому окну, что выходит на кладбище, и прижался носом к стеклу: хотел знать, не видит ли его кто-нибудь в комнате. Ну, тут старому мистеру Симпкинсу пришлось скорчиться под окошком и не дышать, пока он не услышал удалявшиеся шаги и шелест травы за ними. Утром мистер Симпкинс выглянул из окошка, а в траве следы и мертвые кости. Да, злой он был ребенок, но при-

шлось ему за все ответить и тогда, и потом тоже.

— Потом? — Доктор Олдис нахмурился.

— Да, господин доктор, все это повторялось ночь за ночью и во времена старого мистера Симпкинса, и во времена его сына — отца нашего мистера Симпкинса, — да и при нашем мистере Симпкинсе тоже. Прижмется к окну, в особенности когда вечер холодный и в доме разведут огонь, уткнется носом в стекло, руки дрожат, рот то раскроет, то закроет. Простоит так с минуту, а затем уходит обратно в темень, на кладбище. Но открыть окошко они и подумать не смеют, хоть и жалко смотреть, как бедный мальчуган зябнет, да и от года к году становится все прозрачнее.

Верные слова повторяет наш мистер Симпкинс за своим дедушкой: «Когда сердце усохло, то и призрак выходит тощий и уродливый».

— Да уж, — произнес дядя Олдис внезапно — так внезапно, что миссис Мейпл осеклась. — Спасибо. А теперь пора расходиться.

— Но, дядя, — встрепенулась Мэри, — разве ты не собираешься открыть шкаф?

Дядя Олдис покраснел, буквально вспыхнул.

— Дорогая, — проговорил он, — можешь порицать меня за трусость или хвалить за благоразумие — как тебе угодно. Но я не только никогда

сам не открою ни шкаф, ни комод, но и не дам ключи ни тебе, ни кому другому. Миссис Мейпл, не будете ли вы так добры пригласить кого-нибудь, кто бы перенес эту мебель в чулан?

— А когда это будет сделано, миссис Мейпл, — добавила Мэри, в лице которой я прочел, как ни странно, не досаду, а скорее облегчение, — спрячьте туда же еще и пакетик, который я дам вам.

Мы покидали загадочную комнату, ни о чем не сожалея. Распоряжения дяди Олдиса в тот же день были выполнены. Так что, — заключает свои записи мистер Спирман, — в Уитминстере имеется своя комната Синей Бороды и, подозреваю, тамошний чертик-в-табакерке ждет своего часа, чтобы показаться очередному обитателю дома старшего пребендария».

1919

Элджернон Блэквуд
1869–1951



Тайное поклонение

Харрис, коммерсант, торговец шелками, возвращался из деловой поездки по Южной Германии, когда его охватило внезапное желание пересесть в Страсбурге на горную ветку железной дороги и посетить свою старую школу, в которой он не был более тридцати лет. Именно этому случайному желанию младшего компаньона фирмы «Братья Харрис», контора которой находится около кладбища собора Св. Павла, Джон Сайленс обязан одним из самых любопытных случаев, когда-либо им расследованных, ибо как раз в это время он путешествовал по тем же горам с альпинистским рюкзаком за спиной; и так уж случилось, что оба они, прибыв разными путями, остановились в одной и той же гостинице.

Хотя вот уже тридцать лет Харрис занимался исключительно прибыльным делом — покупкой и продажей шелков, пребывание в школе оставило в его душе глубокий след и, возможно, незаметно для него самого, сильно повлияло на всю его последующую жизнь. Он принадлежал к небольшой, очень набожной протестантской общине (думаю, нет необходимости уточнять,

какой именно), и пятнадцати лет от роду отец отослал его в школу — отчасти для того, чтобы он изучил немецкий язык в объеме, достаточном для ведения коммерческих операций, отчасти для того, чтобы его приучили к строгой дисциплине, в то время особо необходимой его душе и телу.

Жизнь в школе и в самом деле оказалась очень суровой, что, несомненно, пошло на пользу молодому Харрису; хотя телесные наказания там и не применялись, но существовала особая система умственного и духовного воспитания, которая способствовала возвышению души, полному искоренению пороков, укреплению характера, но без применения, однако, мучительных наказаний, походящих скорее на личную месть, чем на средство воспитания.

Тогда он был мечтательным, впечатлительным подростком; и вот сейчас, когда поезд медленно поднимался в гору по извилистой колее, Харрис не без приятности вспоминал протекшие с тех времен годы, и из затененных уголков его памяти живо всплывали позабытые подробности. Жизнь в этой отдаленной горной деревушке, огражденной от суетного мира любовью и верой благочестивого Братства, ревностно заботившегося о нескольких сотнях ребят из всех европейских

стран, казалась ему поистине удивительной. Минувшее, картина за картиной, возвращалось к нему. Он как будто воочию видел перед собой длинные каменные коридоры, отделанные сосной классы, где они проводили в занятиях знойные летние дни, — за открытыми окнами в солнечном свете мелькали жужжащие пчелы, а в его уме буквы немецкого алфавита боролись тогда с мечтами об английских газонах.

Неожиданно в эти его мечты вторгался пронзительный крик учителя немецкого языка:

— Ты спишь, Харрис? Встань!

И приходилось с книгой в руке стоять нестерпимо долгий час; за это время колени становились как восковые, а голова тяжелела, точно пушечное ядро.

Он даже помнил запах еды — ежедневную Sauerkraut [7], жилистое мясо, которым их потчевали дважды в неделю на обед, горячий шоколад по воскресеньям; он с улыбкой вспоминал о половинном рационе, которым наказывали тех, кто говорил по-английски. Он заново ощущал тяжелый, сладковатый аромат, исходящий от крестьянского хлеба, когда его макают в моло-

---

[7] Примечания: 7
Кислая капуста *(нем.).*

ко, — таков был их шестичасовой завтрак, видел огромный Speisesaal [8], где сотни мальчиков в школьной форме, все еще не проснувшись, молча давятся этим грубым хлебом, спеша покончить с завтраком, пока не зазвонит колокол, возвещающий об окончании трапезы, а все это время в дальнем конце столовой, там, где сидят учителя, сквозь узкие окна-щели проглядывает восхитительная панорама полей и лесов.

Затем он вспомнил о большой, похожей на амбар комнате на верхнем этаже, где все они спали на деревянных кроватях, и тут же в памяти зазвучал беспощадный звон колокола, что будил их в пять часов утра, призывая в вымощенную каменными плитами Waschkammer [9], в которой ученики и учителя быстро мылись в ледяной воде, а затем молча одевались.

От этих картин память Харриса обратилась к другим воспоминаниям; с легкой дрожью вспомнил он, каким одиноким чувствовал себя в постоянном окружении других учеников: работу, еду, сон, прогулки, отдых — все это неизменно приходилось делить со всем классом, двадцатью

---

[8] Примечания: 8
Столовая *(нем.).*

[9] Примечания: 9
Душевая, баня *(нем.).*

другими такими же мальчиками, под бдительным оком по меньшей мере двух учителей. Когда ему невыносимо хотелось побыть в одиночестве, он, с позволения учителей, уходил на полчаса попрактиковаться в одну из узких, похожих на тюремные камеры музыкальных комнат. Тут Харрис невольно улыбнулся, вспомнив, с каким остервенением пиликал на скрипке.

В то время как поезд, натужно пыхтя, катил через большие сосновые леса, ворсистым ковром устилавшие окрестные горы, он с умиленным восхищением благословлял доброту учителей, их называли тут братьями, поражаясь их преданности своему делу, преданности, что на долгие годы заставляла их погребать себя в этой глуши, чтобы затем, в большинстве случаев, променять эту нелегкую жизнь на еще более суровую участь миссионеров в диких уголках мира.

Он еще раз подумал о тихой религиозной атмосфере, словно занавесом отгораживавшей маленькую лесную общину от суетного мира; о живописных пасхальных, рождественских и новогодних церемониях, о больших и маленьких празднествах. Особенно памятен был ему Bescherfest — день приношения рождественских даров, когда вся община разделялась на две груп-

пы: дарителей и получателей даров — эти дары делались своими руками в течение нескольких недель упорного труда либо покупались на сбережения многих дней. Памятна была и рождественская полночная церемония в церкви: на кафедру в этот день всходил с сияющим лицом деревенский проповедник — каждую последнюю ночь старого года он видел в пустой галерее за органом лица тех, кому суждено умереть в последующие двенадцать месяцев; однажды в толпе обреченных он узнал самого себя и в порыве благочестивого экстаза вознес восторженные хвалы Господу.

Воспоминаниям не было конца. Перед Харрисом расстилалась картина маленькой деревушки, что жила своей дремотной, бескорыстной, чистой, простой, здоровой жизнью на горных вершинах, упорно искала своего Бога и воспитывала в духе веры сотни ребят. Он вновь чувствовал этот мистический энтузиазм, более глубокий, чем море, и более удивительный, чем звезды; вновь слышал вздохи ветра, прилетающего из-за дальних лесов и реющего в лунном свете над красными крышами; слышал голоса братьев, беседующих о жизни предстоящей так, словно они хорошо с ней знакомы; и, сидя в тряском, раскачивающемся

на ходу вагоне, ощущал, как дух невыразимого томления наполняет его отцветшую, утомленную душу, воскрешая море чувств, которые он давно уже считал навеки утраченными.

Мучительной болью отдавался в его душе разительный контраст между тогдашним мечтателем-идеалистом и теперешним деловым человеком; дух неземного покоя и красоты, постигаемый лишь путем медитации, странно волновал его сердце.

Слегка вздрогнув, Харрис выглянул из окна своего пустого купе. Поезд уже давно миновал Хорнберг, и далеко внизу водяные потоки, взметая тучи пены, разбивались об известняковые скалы. А перед ним, на фоне неба, купол за куполом, вставали лесистые горы. Стоял пронизывающе холодный октябрь, запах дыма и влажного мха восхитительно смешивался с тонким благоуханием сосен. Меж верхушек самых высоких деревьев проглядывали первые звезды, небо было того самого чистого, бледного аметистового цвета, в который окрашивались теперь все его воспоминания.

Он откинулся к стенке в своем уголке и вздохнул.

Он был угрюмым человеком и в течение многих

лет не испытывал никаких сильных чувств; он был инертным человеком, и раскачать его было не так-то легко; он был верующим человеком, в котором свойственные юности возвышенные устремления к Богу хотя и утратили прежнюю чистоту в постоянной борьбе за существование, все же не умерли окончательно, как у большинства его сверстников.

В этот маленький забытый уголок прошлого, где хранились груды чистого, нерастраченного золота, он вернулся в неизъяснимом трепетном волнении; и, глядя, как приближаются горные вершины, вдыхая забытые ароматы своего отрочества, Харрис почувствовал, как с души стаяла наросшая за все эти годы кора льда и как пробудилась в нем тонкая чувствительность, которой он не знал много лет назад, когда жил здесь — со своими мечтами, со своими внутренними конфликтами и юношескими страданиями.

Когда поезд остановился на крохотной станции и Харрис увидел ее название, выведенное большими черными буквами на сером каменном здании, а под ним — цифры, обозначающие высоту над уровнем моря, его вдруг пронзила сильная дрожь.

— Самая высокая точка на всей линии! —

воскликнул он. — И как хорошо я помню это название: Зоммерау — Летний луг!..

Поезд, притормаживая, покатился вниз, под уклон, и Харрис, высунув голову из окна, отмечал в сумерках все привычные вехи и ориентиры. Они смотрели на него, как во сне лица мертвецов. Странные сильные чувства, одновременно мучительные и сладкие, затрепетали в его сердце.

«Вот белая дорога, где в жаркие дни мы так часто гуляли в сопровождении двух братьев, а вот, клянусь Юпитером, поворот к „Die Galgen“ — каменным виселицам, где в былые времена вешали ведьм».

Он слегка улыбнулся, когда поезд проскользнул мимо.

«А вот роща, где весной все было усыпано ландышами, а вот это, — повинуясь внезапному импульсу, Харрис опять высунул голову из окна, — та самая лужайка, где мы с французом Каламом гонялись за бабочками. Брат Пагель наказал нас тогда половинным рационом за то, что мы без разрешения сошли с дороги и кричали на своих родных языках». Он снова улыбнулся.

Поезд остановился, и, как во сне, Харрис сошел на серый, усыпанный гравием перрон.

Прошло, казалось, целых полвека с тех пор, как

он в последний раз стоял здесь с деревянными сундучками, обвязанными веревками, ожидая страсбургского поезда, чтобы вернуться домой после двухлетнего отсутствия. Время соскользнуло с него, как старый плащ, и он вновь почувствовал себя мальчиком. С одной только разницей — все кругом казалось гораздо меньше, чем было запечатлено в его воспоминаниях; все как будто съежилось и уменьшилось, расстояния странно сократились.

Он направился к маленькой Gasthaus [10] по ту сторону дороги; его молча сопровождали выступившие из тенистой глубины лесов прежние товарищи: немцы, швейцарцы, итальянцы, французы, русские. Они шли рядом, глядя на него вопросительно и печально. Но их имена он забыл. Тут же были и некоторые из братьев, многих из которых он помнил по имени: брат Рёст, брат Пагель, брат Шлиман, брат Гисин — тот самый бородатый проповедник, который увидел свое лицо среди обреченных на смерть. Темный лес на холмах шумел вокруг него, как море, готовое затопить эти лица своими бархатистыми волнами. Воздух обдавал прохладой и благоуха-

---

[10] Примечания: 10
Гостиница *(нем.)*.

нием, каждый запах приносил с собой бледное воспоминание.

Несмотря на печаль, обычно пронизывающую такого рода воспоминания, Харрис с большим интересом приглядывался ко всему вокруг и даже испытывал от этого своеобразное удовольствие; вполне удовлетворенный собой, он снял в гостинице номер и заказал ужин, намереваясь тем же вечером отправиться в школу. Школа находилась в самом центре деревушки, отделенной от станции четырьмя милями леса; Харрис впервые вспомнил, что это маленькое протестантское поселение расположено в местности, где проживают исключительно католики — их распятия и святыни окружают его, точно разведчики осаждающей армии. Сразу же за деревней, вместе с прилегающими полями и фруктовым садом занимавшей всего несколько акров земли, стояли густые фаланги лесов, а сразу за ними начиналась страна, где правили священники иной веры. Теперь он смутно припоминал, что католики проявляли враждебность к маленькому протестантскому оазису, так спокойно приютившемуся в их окружении. А он, Харрис, совсем позабыл об этом! С его обширным жизненным опытом, знанием других стран, да и мало ли еще

чего, та вражда показалась ему ныне слишком уж мелкотравчатой: он будто возвратился не на тридцать, а на все триста лет назад.

Кроме него, за ужином присутствовали еще двое постояльцев. Один из них, бородатый пожилой мужчина в твидовом костюме, сидел за дальним концом стола, и Харрис рад был держаться от него подальше, так как узнал в нем соотечественника, возможно, даже принадлежавшего к деловым кругам. Не хватало еще, чтобы он оказался торговцем шелками, — у Харриса не было ни малейшего желания говорить сейчас с кем бы то ни было о коммерции. Второй постоялец — католический священник, маленький человек, евший салат с ножа, но с таким кротким видом, что это даже не казалось нарушением приличий; именно его ряса и напомнила Харрису о старинном антагонизме между католиками и протестантами. Харрис упомянул, что совершает своего рода сентиментальное путешествие, и священник, приподняв брови, вдруг проницательно взглянул на него — с удивлением и подозрительностью, неприятно его задевшей. Харрис приписал такую реакцию различию в вере.

— Да, — продолжал он, радуясь возможности поговорить о том, что переполняло его душу, — то

было довольно странное ощущение для английского мальчика — оказаться в здешней школе, среди сотен иностранцев. На первых порах я испытывал одиночество и глубокую Heimweh [11]. — Он еще не утратил беглость немецкой речи.

Его визави поднял глаза от холодной телятины и картофельного салата и улыбнулся. У него было милое, приятное лицо. Выяснилось, что он нездешний и что должен посетить Вюртембергский и Боденский приходы.

— Это была нелегкая жизнь, — продолжал Харрис. — Мы, англичане, называли ее «тюремной».

Лицо священника, непонятно отчего, вдруг потемнело. После короткой паузы, скорее из вежливости, чем из желания продолжать разговор, он спокойно заметил:

— В те дни это, разумеется, была процветающая школа. Но впоследствии, как я слышал… — Священник пожал плечами, и в его глазах мелькнуло странное, почти тревожное выражение. Он так и не договорил начатую фразу.

В его тоне Харрис уловил нечто неожиданное для себя — укоризну и даже осуждение. Это его

---

[11] Примечания: 11
Тоска по родине *(нем.)*.

сильно задело.

— Она переменилась? — спросил он. — Что-то не верится!

— Стало быть, вы ничего не слышали? — кротко спросил священник и хотел было перекреститься, но что-то остановило его. — Вы ничего не слышали о том, что произошло в этой школе, прежде чем ее закрыли?

То ли Харрис был задет за живое, то ли переутомлен впечатлениями дня, но слова и сама манера поведения маленького священника вдруг показались ему настолько оскорбительными, что он даже не расслышал конца последней фразы. Вспомнив о застарелой вражде между протестантами и католиками, он едва не вышел из себя.

— Чепуха! — воскликнул он с натянутой улыбкой. — Unsinn [12]. Простите, сэр, но я должен вам возразить. Я был учеником этой школы. Она единственная в своем роде. Я убежден, что ничто всерьез не могло повредить ее репутации. В своей благочестивости братья вряд ли знали себе равных…

Он прервал свою речь, осознав, что говорит слишком громко: человек за дальним концом

---

[12] Примечания: 12
Вздор *(нем.)*.

стола, вполне возможно, понимал по-немецки; подняв глаза, он увидел, что тот пристально вглядывается в его лицо. Глаза у него были необычно яркие, очень выразительные — Харрис прочитал во взгляде упрек и предупреждение. Да и весь облик незнакомца произвел на него сейчас сильное впечатление: он вдруг почувствовал, что это один из тех людей, в чьем присутствии вряд ли кто осмелится сказать или сделать что-нибудь недостойное. Харрис только не мог понять, почему он не осознал этого раньше.

Он готов был откусить себе язык — так позабыться в присутствии посторонних! Маленький священник погрузился в молчание. Лишь однажды, подняв глаза и говоря намеренно тихим, еле слышным голосом, он заметил:

— Вы убедитесь, что она сильно изменилась, эта ваша школа.

Вскоре он встал из-за стола с учтивым поклоном, предназначавшимся обоим сотрапезникам.

Следом за ним поднялся и человек в твидовом костюме.

Некоторое время Харрис еще посидел в темнеющей комнате, потягивая свой кофе и попыхивая пятнадцатипфенниговой сигарой, пока не вошла служанка, чтобы зажечь керосиновые лампы. Он

был недоволен собой, хотя и не мог объяснить причину своей недавней вспышки. Может быть, его раздражение вызвало то, что священник — пусть и ненамеренно — внес диссонанс в его столь приятные воспоминания. Ну ничего, позднее он найдет подходящий случай, чтобы перед ним извиниться. А сейчас, гонимый нетерпением скорее отправиться в школу, он взял трость и вышел на улицу.

Покидая Gasthaus, он заметил, что священник и человек в твидовом костюме так глубоко поглощены беседой друг с другом, что даже не обратили внимания на то, как он прошел мимо них, приподняв свою шляпу.

Харрис хорошо помнил дорогу и двинулся быстрым шагом, надеясь добраться до деревни вовремя и еще успеть поговорить с кем-нибудь из братьев. Возможно, его даже пригласят на чашку кофе. Он был уверен, что ему окажут теплый прием, и вновь предался своим воспоминаниям.

Шел восьмой час, из леса тянуло октябрьским холодком. Дорога углублялась в чащу, и через несколько минут его со всех сторон обступили молчаливые темные ели. Стало совсем темно, невозможно было даже разглядеть стволы деревьев. Харрис шел быстрой походкой, помахивая

самшитовой тростью. Раза два ему встречались возвращающиеся домой крестьяне. Их гортанное приветствие, казалось, лишь подчеркивало, как много воды утекло за время его отсутствия, и вместе с тем как будто возвращало его в далекое прошлое. Из леса вновь вышли его бывшие товарищи и пошли с ним рядом, рассказывая о делах тех давних дней. Одно воспоминание следовало по пятам за другим. Харрис знал все повороты дороги, все лесные лужайки, и все они напоминали о чем-нибудь позабытом. Он снова упивался своими воспоминаниями.

Харрис все шел и шел. Небо над ним еще было слегка позолочено, но затем появилась луна, и между землей и звездами заструился слабый серебристый ветерок. Мерцающие верхушки елей тихо перешептывались между собой, когда ветер направлял их игры в сторону света. Горный воздух томил упоительной сладостью. Дорога теперь светлела во мраке, как пенная река. Как безмолвные его мысли, порхали перед ним белые мотыльки; Харриса приветствовали сотни лесных запахов, знакомых еще с тех далеких лет.

И вдруг, когда он этого совсем не ожидал, деревья расступились, и Харрис увидел перед собой окраину деревни.

Он прибавил шагу. Перед ним лежали привычные очертания облитых лунным серебром домов; на маленькой центральной площади, с фонтаном и небольшими зелеными газонами, стояли все те же деревья, рядом с общежитием маячила церковь; а за ней, вдруг разволновавшись, он увидел массивное школьное здание — квадратное и мрачное, окруженное крепостной стеной теней, оно походило на старинный замок.

Харрис быстро прошел по пустынной улице и остановился в тени школы, оглядывая стены, державшие его в плену целых два года — два суровых года непрерывной учебы и постоянной тоски по дому. Самые яркие впечатления юности были тесно связаны именно с этим местом; здесь начал он свою жизнь, здесь учился понимать истинные ценности. Кое-где в домишках светились огни, но ни один звук не нарушал тишину, и когда Харрис поднял глаза на высокие затененные окна школы, ему сразу почудилось, что из окон его приветствуют давние знакомые, хотя на самом деле окна отражали лишь лунный свет да звездное сияние.

Долгое время он молча оглядывал школьное здание — со слепыми окнами, кое-где закрытыми ставнями, с высокой черепичной кровлей, с

острыми громоотводами, точно черные персты указующими в небо по всем четырем углам. Наконец, очнувшись, Харрис с радостью заметил, что в окнах Bruderstube [13] еще горит свет.

Свернув с дороги, Харрис вошел в решетчатые железные ворота, поднялся по двенадцати каменным ступеням и оказался перед черной дубовой дверью с тяжелыми запорами — дверью, которую некогда он ненавидел всей ненавистью, заключенной в темницу души, но теперь она пробудила в нем чуть ли не юношеский восторг.

Не без некоторой робости дернул он за веревку у двери и с трепетным волнением услышал звон колокольчика в глубине здания. Этот давно забытый звук опять так живо воскресил в его памяти прошлое, что Харрис даже вздрогнул. Казалось, это был тот самый сказочный колокол, звон которого приподнимает занавес времени и воскрешает мертвецов в их мрачных могилах. Никогда еще Харрис не испытывал прилива такой сентиментальности, как теперь. К нему словно вернулась юность. И в то же время он вдруг вырос в собственных глазах, преисполнясь чувства собственной важности. Он ведь и в самом

---

[13] Примечания: 13
Здесь: учительская *(нем.).*

деле важная персона, явившаяся сюда из мира действия и борьбы. В этом маленьком сонном и мирном местечке он вполне может претендовать на роль значительной особы.

«Позвонить еще раз?» — подумал он после долгой паузы и вновь взялся за веревку, как вдруг внутри здания прозвучали шаги и огромная дверь медленно отворилась.

На Харриса молча взирал высокий человек — вид у него был довольно суровый.

— Извините, уже, конечно, поздно, — начал Харрис с легкой напыщенностью, — но я старый ученик школы. Только что с поезда и не мог удержаться, чтобы не зайти. — Почему-то сейчас он говорил по-немецки без обычной для него беглости. — Я учился здесь в семидесятых, и мне очень хочется увидеть школу снова.

Высокий человек распахнул дверь пошире, с учтивым поклоном и приветственной улыбкой пропуская Харриса внутрь.

— Я брат Калькман, — сказал он низким басом. — Как раз преподавал здесь в то время. Встреча с бывшим учеником всегда большое удовольствие. — Несколько секунд он буравил пришельца своими проницательными глазами. — Замечательно, что вы пришли, просто

замечательно! — добавил он немного погодя.

— О, для меня это удовольствие, — ответил Харрис, обрадованный столь теплым приемом.

Вид тускло освещенного, вымощенного серыми каменными плитами коридора, знакомые учительские нотки в голосе, так свойственные всем братьям, опять возродили в душе Харриса мифическую атмосферу давно забытых дней. Он с радостью вошел в здание школы — и дверь за ним захлопнулась с тем хорошо знакомым грохотом, который окончательно довершил воскрешение прошлого. К нему опять вернулось уже позабытое чувство заточения, несвободы и мучительной ностальгии, и Харрис с невольным вздохом обернулся к брату Калькману. Тот слабо улыбнулся ему в ответ и повел за собой по длинному коридору.

— Мальчики уже легли, — сказал брат Калькман. — Вы, конечно, помните, что здесь рано ложатся и рано встают. Но вы можете присоединиться к нам в учительской и выпить с нами чашечку кофе. — Именно на это наш коммерсант и рассчитывал — он принял предложение с готовностью, которую постарался скрыть за любезной улыбкой. — А завтра, — продолжал брат, — вы проведете с нами весь день. Возможно, вы даже

встретите своих старых знакомых, ибо кое-кто из тогдашних учеников за это время стал учителем.

В глазах брата на секунду мелькнуло странное, зловещее выражение, но Харрис тут же убедил себя, что это просто тень, отброшенная коридорной лампой. И успокоился.

— Вы очень добры ко мне, — вежливо сказал он. — Вы даже не представляете, какое это удовольствие — вновь побывать здесь. О! — Харрис приостановился у застекленной поверху двери и заглянул внутрь. — Должно быть, это одна из тех музыкальных комнат, где я учился игре на скрипке? Сколько лет прошло, а я до сих пор все помню так живо!

Со снисходительной улыбкой брат Калькман ждал, пока гость осмотрит все, что ему хочется.

— У вас все еще существует школьный оркестр? Я играл в нем вторую скрипку, на пианино играл сам брат Шлиман. Как сейчас вижу его перед собой — длинные черные волосы и… и… — Он запнулся: на суровом лице его спутника опять мелькнуло все то же зловещее выражение, и на какой-то миг оно показалось Харрису необычайно знакомым.

— Да, школьный оркестр по-прежнему существует, — сказал брат Калькман. — Но, к

величайшему прискорбию, брат Шлиман… Брат Шлиман покинул сей мир, — чуть помедлив, закончил он.

— В самом деле? — откликнулся Харрис. — Как жаль!

И тут его кольнуло смутное беспокойство, вызванное то ли известием о кончине старого учителя музыки, то ли какой другой, пока непонятной ему причиной. Он глянул вдоль коридора, терявшегося вдали среди теней. Странное дело, на улице и в деревне все казалось ему гораздо меньше, чем помнилось, а здесь, в школьном здании, наоборот, все было гораздо больше. Коридор, например, выше и длиннее, шире и просторнее, чем в его памяти.

Подняв глаза, он увидел, что брат Калькман наблюдает за ним со снисходительной, терпеливой улыбкой.

— Я вижу, ваши воспоминания подавляют вас, — заметил брат Калькман с неожиданной кротостью, и в его суровом взгляде появилось что-то похожее на жалость.

— Вы правы, — ответил коммерсант, — воспоминания в самом деле подавляют меня. В каком-то смысле то был самый удивительный период в моей жизни. Хотя я и ненавидел в ту

пору… — Он запнулся, боясь ранить чувства собеседника.

— Вероятно, по английским понятиям здешнее воспитание кажется очень строгим, — как бы извиняя его, сказал брат.

— Да, верно, но дело не только в этом, а и в ностальгии, и в том чувстве одиночества, которое возникает, когда ты постоянно в людском окружении. В английских школах, вы знаете, ученики пользуются достаточной свободой. — Харрис отметил, что брат Калькман внимательно слушает его, и смущенно продолжал: — Но это воспитание все же дало один хороший результат, за что я ему и благодарен.

— Какой же?

— Пережитые страдания заставили меня всей душой обратиться к вашей религиозной жизни; я искал духовного удовлетворения, которое только и может принести полный покой. Все два года моего здесь пребывания я, хотя и по-детски, стремился к постижению Бога. Более того, я никогда уже не утратил обретенного здесь чувства покоя и внутренней радости. Я никогда не забуду ни этой школы, ни тех глубоких принципов, которые мне здесь внушили.

Последовала короткая пауза. Харрис опасался,

что сказал больше, чем следовало, или, может быть, недостаточно ясно выразил свои мысли на чужом языке, и невольно вздрогнул, когда брат Калькман положил свою руку ему на плечо.

— Воспоминания и впрямь подавляют меня, — добавил он извиняющимся тоном. — Этот длинный коридор, эти комнаты, эта мрачная решетчатая дверь затрагивают во мне струны, которые… которые… — Здесь немецкий язык изменил ему, и, запнувшись, Харрис с улыбкой развел руками, словно в чем-то оправдывался.

Брат Калькман убрал свою руку с его плеча и, повернувшись к Харрису спиной, снова глянул в глубь коридора.

— Естественно, естественно, — торопливо пробормотал он. — Само собой разумеется. Мы все вас поймем.

Когда он обернулся, Харрис заметил на его лице еще более жуткое выражение, чем прежде. Конечно, то могла быть всего лишь игра теней в неверном свете ламп, ибо, едва они пошли дальше, выражение это исчезло с лица брата Калькмана, и англичанин подумал, уж не сказал ли он что-то лишнее, что задело чувства собеседника.

Перед дверью Bruderstube они остановились.

Было уже действительно поздно, и Харрис пожалел, что так долго проболтал в коридоре. Ему вдруг захотелось сейчас же вернуться в Gasthaus, но брат Калькман и слышать не хотел о его уходе.

— Вы должны выпить с нами чашечку кофе, — сказал он, и в голосе его прозвучали повелительные нотки. — Мои коллеги будут весьма рады вам. Возможно, кое-кто вас еще помнит.

Из-за двери слышался приятный оживленный гомон. Брат Калькман повернул дверную ручку, и они вошли в ярко освещенную, полную людей комнату.

— Как ваше имя? — шепотом спросил Калькман, наклонившись к Харрису, чтобы получше расслышать ответ. — Вы так и не представились.

— Харрис, — быстро ответил англичанин.

Переступая порог Bruderstube, он вдруг сильно занервничал, но приписал свое волнение тому, что нарушил строжайшее правило заведения: ученикам строго-настрого запрещалось входить в эту святая святых, где в короткие минуты отдыха собирались учителя.

— О да, Харрис! — воскликнул брат Калькман, словно сам вспомнил его имя. — Входите, герр Харрис, пожалуйста, входите. Мы глубоко трону-

ты вашим визитом. Просто замечательно, что вы решили посетить нас!

Дверь за ними затворилась; ослепленный ярким светом, слегка растерянный, Харрис не обратил особого внимания на преувеличенное изъявление радости по поводу его прихода. Представляя его присутствующим, брат Калькман говорил слишком, пожалуй, даже неестественно громко:

— Братья! Я имею высокую честь и удовольствие представить вам герра Харриса из Англии. Он решил нанести нам короткий визит, и от нашего общего имени я уже выразил ему нашу признательность. Как вы помните, он учился здесь в семидесятых.

Это было типично немецкое, чисто формальное представление. Харрису, однако, оно польстило. Он почувствовал себя важной персоной и оценил такт, с которым ему дали понять, что его будто бы даже ждали.

Присутствующие — все в черных сюртуках — встали и поклонились ему. Раскланялись и Харрис и Калькман. Все были чрезвычайно любезны и обходительны.

После коридорной полутьмы свет еще слепил глаза Харрису; он смутно различал в сигаретном

дыму лица людей. Сев на предложенный ему стул между двумя братьями, он отметил про себя, что наблюдательность его утратила обычно свойственные ей остроту и точность. Видимо, слишком сильно все еще действовало очарование прошлого, так странно смещавшее временны`е пропорции: в одну минуту настроение Харриса как будто вобрало в себя все настроения его далекого отрочества.

Усилием воли Харрис взял себя в руки и присоединился к общей беседе. Она доставляла ему удовольствие: братья — в этой маленькой комнате их было добрый десяток — обращались с ним так приветливо, так по-свойски, что он быстро почувствовал себя своим в их кружке. И это тоже вызвало у него легкое головокружение. Казалось, где-то далеко позади оставил он алчный, вульгарный, корыстолюбивый мир рынков, прибыльных сделок, торговли шелками и вступил в иной — в тот, где превыше всего ценят духовное, где жизнь отличается благочестием и простотой. Это так обрадовало Харриса, что у него вдруг словно глаза открылись: ведь все тридцать лет занятия коммерцией вели его к духовной деградации. А эта атмосфера высокого благочестия, в которой люди заботятся лишь о собственной душе и ду-

шах своих ближних, была слишком утонченной для того мира, где протекает теперь его жизнь. Сравнения, сделанные им, оказались не в его, Харриса, пользу: маленький мечтатель-мистик, тридцать лет назад вышедший из этой суровой, но мирной обители, куда как отличался от того светского человека, каким он стал; и это вызвало в Харрисе острое сожаление, даже что-то вроде презрения к самому себе.

Он обвел взглядом присутствующих: лица плавали в табачном дыму, в столь памятном ему пряном сигарном дыму; все это были проницательные, умиротворенные люди, одухотворенные великими благородными идеалами, бескорыстным служением добру. Особенно внимание Харриса привлекли — он и сам не знал почему — некоторые из них. Они просто обворожили его. Чувствовалось в них что-то очень строгое, бескомпромиссное и в то же время странно, неуловимо знакомое. В их взглядах Харрис читал бесспорное доброжелательство, а в некоторых даже что-то похожее на восхищение — смесь обычного уважения и глубокого почтения. Это выражавшееся в их взглядах почтение особенно льстило его тщеславию.

Вскоре подали кофе; приготовил его черно-

волосый брат, сидевший в углу за пианино и разительно похожий на брата Шлимана, их учителя музыки. Принимая из его белых и тонких, как у женщины, рук чашку, Харрис обменялся с ним поклонами. Он закурил сигарету, предложенную ему соседом, с которым у него шел оживленный разговор и который сильно напоминал ему брата Пагеля, их классного наставника.

— Просто удивительно, — сказал Харрис, — как много знакомых лиц, если только это мне не кажется! Очень любопытно!

— Да, — ответил черноволосый брат, глядя на него поверх чашечки с кофе. — Это место обладает поистине магическим свойством. Могу себе представить, что перед вашим мысленным оком встают хорошо знакомые лица, всецело заслоняющие нас, здесь присутствующих.

Они оба улыбнулись. Радостно сознавать, что тебя так хорошо понимают и ценят. И они заговорили о горной деревне, о ее уединенности от суетного мира, о том, что это особенно способствует благочестивым размышлениям, молитве и духовному становлению.

— Ваш приход, герр Харрис, всех нас очень порадовал, — подхватил другой брат, сосед слева. — Мы это ценим и весьма вас чтим.

Харрис махнул рукой.

— Боюсь, я лишь эгоистически думал о собственном удовольствии, — сказал он с елейной учтивостью.

— Пожалуй, не у всех хватило бы на такое мужества, — заметил двойник брата Пагеля.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Харрис, слегка озадаченный. — Что бремя воспоминаний может оказаться слишком тяжелым?

Брат Пагель посмотрел на него в упор — во взгляде все то же восхищение и уважение.

— Я хочу сказать, — ответил он серьезно, — что большинство людей слишком дорожит своей жизнью и не хочет пожертвовать ею ради своих религиозных убеждений.

Англичанин несколько сконфузился: эти достойные люди слишком уж высоко оценивают его сентиментальное путешествие; разговор становился все менее доступным его пониманию: смысл его от Харриса ускользал.

— Но мирская жизнь все еще сохраняет для меня свою привлекательность, — улыбнулся он.

— Тем более мы ценим, что пришли вы сюда по доброй воле, — сказал брат слева. — И без каких бы то ни было условий.

Последовала пауза; торговец шелками с об-

легчением вздохнул, когда разговор изменил направление, хотя, по сути, они все время кружили вокруг одной и той же темы: посещения Харрисом школы и удобного местоположения этой одинокой деревни для желающих развивать свои духовные способности, для тех, кто предан высокому поклонению.

В разговоре участвовали все братья. Они хвалили гостя за блистательное знание немецкого языка. Харрис вновь почувствовал себя легко и непринужденно, хотя его и смущало это явно преувеличенное восхищение: в конце концов, он просто совершил сентиментальное путешествие, вот и все.

Время летело; кофе был превосходный, сигары — того мягкого, бархатистого вкуса, который он особенно любил. Наконец, чувствуя, что слишком засиделся, Харрис нехотя встал, собираясь проститься. Но никто и слышать не хотел об этом: не так уж часто прежние ученики заглядывают вот так запросто, без всяких церемоний. Да и не так уж поздно. В случае надобности ему отведут уголок в большой Schlafzimmer [14] наверху. И Харриса без труда уговорили остаться еще

---

[14] Примечания: 14
Спальня *(нем.)*.

на некоторое время. Как-то нечаянно он опять оказался в самом центре внимания и опять был этим весьма польщен: в самом деле, такой прием — большая для него честь!

— А теперь, — возгласил Калькман, — быть может, брат Шлиман сыграет что-нибудь для нас?!

Харрис вздрогнул, услышав это имя и увидев черноволосого брата за пианино, с улыбкой обернувшегося к присутствующим: его умершего учителя музыки тоже звали Шлиманом! Возможно, это его сын? Поразительное сходство!

— Если брат Майер не уложил еще свою Амати спать, я могу ему аккомпанировать, — предложил музыкант, глядя на человека, как две капли воды похожего на другого учителя Харриса и с точно таким же именем.

Майер поднялся из-за стола с легким поклоном, и англичанин заметил, что шея его как-то неестественно соединена с телом — даже страшно стало, как бы не сломалась. Тот старый Майер кланялся точно так же. Ученики частенько передразнивали его.

Харрис быстро обвел взглядом лица присутствующих. У него было чувство, будто на его глазах происходит нечто такое, что безмолвно и незримо преображает их всех: все братья по-

казались ему вдруг странно знакомыми — брат Пагель, с которым он разговаривал только что, поразительно походил на его прежнего классного наставника Пагеля; Калькман, только сейчас осознал он это, был как две капли воды похож на учителя, чье имя выветрилось из его памяти, но кого он терпеть не мог в те давние времена. Сквозь табачный дым на Харриса со всех сторон смотрели знакомые ему еще со времен отрочества братья: Рёст, Флюхайм, Майнерт, Ригель, Гисин…

Это не могло не настораживать, и Харрис стал внимательнее присматриваться к окружающим, и чем внимательнее он вглядывался в лица, тем больше убеждался, что все они — странные подобия, как бы призраки давних его учителей. Внутренне подобравшись, Харрис постарался разогнать вокруг себя дым и, к своему смущению, увидел, что за ним пристально наблюдают. Все до одного.

Зазвучала музыка. Длинные белые пальцы брата Шлимана ласково касались клавиш. Харрис откинулся на спинку стула, продолжая курить, полусомкнув веки, однако ничего не упуская из виду. Все его тело пронизывала дрожь, и он ничего не мог с этим поделать. Подобно тому

как приречный городок в самой глубине страны ощущает присутствие далекого моря, так и он подсознательно ощущал, что в этой маленькой дымной комнате против его души ополчились могучие, но неведомые ему силы.

Слушая музыку, англичанин чувствовал, как ум его проясняется, а с глаз будто спадает пелена. Он вдруг вспомнил слова священника в железнодорожной гостинице: «Вы убедитесь, что она сильно изменилась, эта ваша школа». И, сам не зная почему, он увидел вдруг перед собой проницательные глаза постояльца, слышавшего их разговор со священником, а затем долго беседовавшего с тем в коридоре. Харрис тайком вынул свои карманные часы: одиннадцать. Прошло уже два часа с тех пор, как он здесь.

Шлиман между тем, весь отдавшись музыке, продолжал играть какую-то торжественную мелодию. Пианино звучало великолепно. Сила и простота великого искусства, могучий зов обретшей себя души — все это находило выражение в раскатистых аккордах, но странно: музыка воспринималась как дьявольски отвратительная, кощунственная, богомерзкая… Харрис не мог вспомнить этого произведения, но, судя по его мощи и мрачному напору, это была,

несомненно, месса. Музыка оставляла на лицах слушателей печать тех могущественных сил, чьим акустическим символом она являлась. Все окружение Харриса приняло зловещий — и не просто зловещий, а исполненный темной угрозы — облик. Харрис вдруг вспомнил, какая страшная физиономия была у брата Калькмана в коридоре. Да, в глазах братьев, в их лицах явственно читались тайные побуждения: эти лица — как черные флаги, что выкинула толпа отъявленных, неисправимо падших негодяев. И вдруг в мозгу Харриса проступило начертанное огненными буквами слово: ДЕМОНЫ.

Это неожиданное открытие лишило англичанина всякого хладнокровия. Не обдумав и не осознав его как следует, он совершил чрезвычайно глупый, хотя и вполне объяснимый для любого, кто оказался бы на его месте, поступок: так как внутреннее напряжение неудержимо толкало Харриса к действию, он вскочил и что есть мочи принялся кричать! Да, да, кричать, к своему крайнему изумлению.

Однако никто вокруг даже не шелохнулся, не обратил ровным счетом никакого внимания на его столь дикую выходку. Казалось, кроме него самого, никто даже и не слышал этого вопля — то

ли отчаянный крик потонул в громких раскатах музыки, то ли кричал он негромко, то ли вообще не кричал.

Глядя на неподвижные, темные физиономии, Харрис почувствовал, что все его существо затопил леденящий ужас. Все остальные чувства схлынули, как море во время отлива. Он снова сел, сгорая от стыда за свою глупую детскую выходку, а из-под белых змеиных пальцев брата Шлимана, как отравленное вино из древнего фиала, все лилась и лилась музыка.

И вместе со всеми остальными Харрис пил ее.

Когда Шлиман кончил играть, все зааплодировали и разом заговорили; братья смеялись, пересаживались, хвалили игру пианиста — словом, вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Все они снова обрели свой нормальный облик, столпились вокруг гостя, и Харрис, кое-как включившись в общий разговор, даже нашел силы поблагодарить замечательного исполнителя, старательно убеждая себя в том, что стал жертвой странной галлюцинации.

Все это время, однако, он все ближе подбирался к двери и наконец решительно заявил:

— Я должен тысячу раз поблагодарить всех вас за теплый прием и за доставленное мне удоволь-

ствие, а также за ту высокую честь, которую вы мне оказали. Но я слишком долго злоупотреблял вашим гостеприимством. К тому же мне предстоит еще долгий путь, прежде чем я доберусь до гостиницы.

Братья запротестовали хором: они и слышать не хотят о том, что он может уйти, — уж по крайней мере он поужинает вместе с ними! Из одного буфета достали пумперникель, из другого — колбасу. Сварили еще кофе, закурили новые сигары. Брат Майер вынул свою скрипку и начал ее настраивать.

— Если герр Харрис пожелает заночевать, — сказал кто-то, — наверху есть свободная кровать.

— К тому же и выйти отсюда не так-то просто — все двери заперты, — рассмеялся другой.

— Надо пользоваться простыми радостями жизни, — воскликнул третий. — Брат Харрис, конечно же, поймет, как высоко мы оцениваем его визит — последний визит.

Они все отговаривали его и при этом смеялись, будто вежливость была лишь уловкой, а слова — тонкой, очень тонкой завесой, скрывающей их истинное значение.

— Уж близится полночь, — с чарующей улыбкой, но голосом отвратительным, как скрип

ржавых петель, сказал брат Калькман.

Их речь становилась все более трудной для понимания. Харрис заметил, что его стали называть «братом», тем самым как бы причислив к своим.

И тут его осенило: весь дрожа, он вдруг понял, что неправильно, совершенно неправильно истолковывает смысл всего, что здесь говорится и что было сказано прежде. Говоря о красоте этого места, о его уединенности, отрешенной от суетного мира и словно специально предназначенной для духовного развития и поклонения, они, как он теперь осознал, вкладывали в эти слова совершенно иной смысл. Их понятия о духовной силе, одиночестве и поклонении вовсе не соответствовали его понятиям. Ему навязывают роль в каком-то чудовищном маскараде; он находится среди тех, кто облачается в рясу религии, чтобы следовать собственным тайным целям.

Но что все это означает? Каким образом попал он в столь двусмысленное положение? Случайно или по собственной глупости? Или его намеренно заманили в западню? Мысли путались, а уверенность Харриса в себе сильно поколебалась. Почему его приход произвел на братьев столь глубокое впечатление? Почему они так восхищены этим столь обыкновенным поступком и так

восхваляют его? Почему с таким восторгом говорят о его мужестве и о «добровольном, без каких бы то ни было условий, самопожертвовании»?

И вновь ужасный страх стиснул клещами его сердце, ибо Харрис не находил ответа ни на один из этих вопросов. Лишь одно уяснил он совершенно определенно: их цель — любыми средствами задержать его здесь.

С этого момента Харрис был убежден: все братья — гнусные, отвратительные существа, злоумышляющие против него самого и его жизни. Недавно брошенная кем-то фраза — «его последний визит» — вспыхнула в мозгу англичанина огненными буквами.

Харрис не был человеком действия и никогда еще, на протяжении своей карьеры, не оказывался в опасном, по-настоящему опасном, положении. Быть может, он и не лишен был мужества, но ему никогда еще не приходилось испытывать свою храбрость на деле. А дело предстояло иметь с теми, кто готов на все. В слишком большом смятении, чтобы рассуждать логически и последовательно, он лишь смутно угадывал, каковы их истинные намерения, и способен был только слепо следовать наиболее сильным своим инстинктам. Ни на миг не пришла ему в голову

мысль, что все братья — сумасшедшие или что он сам лишился рассудка. Его мозг сверлила одна-единственная мысль: бежать — и как можно скорее!

Поэтому, перестав протестовать, Харрис съел свой пумперникель и выпил кофе, стараясь по-прежнему поддерживать разговор. Затем встал, еще раз попрощался со всеми, испытывая непреодолимое отвращение ко всему вокруг.

Говорил он спокойно, но решительно. Никто из слушателей не мог бы усомниться теперь в серьезности его намерения. И на этот раз он уж было приблизился к самой двери.

— Сожалею, что наш приятный вечер подошел к концу, — тщательно подбирая немецкие слова, обратился Харрис к притихшим братьям, — но я должен пожелать всем вам спокойной ночи. — Эта его речь была встречена глухим молчанием, и он добавил, уже с меньшей уверенностью: — Я искренне благодарен вам за ваше гостеприимство.

— Да нет же! — поспешно откликнулся Калькман, вскакивая со стула и делая вид, что не замечает протянутой ему руки. — Это мы должны благодарить вас, что мы и делаем от всего сердца!

И в тот же миг по меньшей мере полдюжины

братьев отрезали Харрису путь к бегству. Брат Шлиман проворно пересек комнату и встал перед ним. Видно было, что настроен он весьма решительно — лицо его приняло злобное, угрожающее выражение.

— Вы оказались здесь отнюдь не случайно, брат Харрис, — громко возгласил он. — Я не сомневаюсь, что все мы правильно поняли цель вашего визита. — И он многозначительно приподнял свои черные брови.

— Нет, нет, — поспешил с ответом англичанин. — Я был… я рад, что побывал здесь. Я уже говорил, какое удовольствие доставило мне общение с вами. Прошу, поймите меня правильно…

Голос его дрогнул, теперь он с трудом подбирал слова. Более того, с трудом понимал и их речи.

— Разумеется, мы всё правильно поняли, — вмешался брат Калькман своим скрипучим басом. — Вы явились сюда как воплощение духа истинного, бескорыстного самопожертвования. Вы предлагаете себя по доброй воле, и мы это ценим. Именно ваша добрая воля и благородство полностью завоевали наше уважение, и тот почет… — В комнате послышался негромкий гул одобрения. — Мы восхищены — и особенно Великий Хозяин — вашей бескорыстной и доб-

ровольной…

Он употребил слово Opfer [15], которого Харрис не понял. Тщетно обшаривал он закоулки своей памяти в поисках его значения. Перевод не давался. И все же, хотя Харрис и не понял этого слова, оно неприятно холодило душу. Оказывается, дело обстоит хуже, куда хуже, чем он предполагал! Он почувствовал себя совершенно беспомощным и с этого мгновения потерял всякое желание сопротивляться.

— Как это великолепно — быть добровольной… — со зловещей усмешкой добавил Шлиман, подбираясь поближе, и тоже употребил слово Opfer.

Боже! Да что оно означает, это слово?! Вы предлагаете себя… Воплощение духа истинного, бескорыстного самопожертвования… Добровольная… бескорыстная… великолепная… Opfer, Opfer, Opfer… Что, во имя всего святого, означает это странное, таинственное слово, таким ужасом захлестывающее сердце?

Харрис постарался взять себя в руки, вернуть себе присутствие духа. Обернувшись, увидел смертельно бледное лицо Калькмана. Кальк-

---

[15] Примечания: 15
Жертва (*нем.*).

ман — это-то он хорошо понимает! — Калькман означает по-немецки «Человек из мела». Но что означает Opfer? Это слово и есть ключ к тому, что с ним происходит! Через смятенный рассудок Харриса бесконечным потоком текли необычные редкие слова, которые он, возможно, и слышал-то всего раз в жизни, но значение довольно часто встречающегося слова Opfer по-прежнему ускользало. Какое-то наваждение!

Тут Калькман — лицо его выражало совершенную непреклонность — тихо произнес какую-то фразу, которую Харрис не расслышал, и стоявшие у стен братья тотчас подкрутили в керосиновых лампах фитили. В полутьме Харрис теперь едва мог различать лица.

— Пора! — услышал он беспощадный голос Калькмана. — Скоро полночь. Готовьтесь же к приходу брата Асмодея — он идет, он идет!

И это прозвучало как песнопение.

Произнесенное имя повергло Харриса в панический ужас: он дрожал с головы до ног. Как удар грома было это имя; гром отгремел — и воцарилась гробовая тишина. Магические силы на его глазах преображали привычный обыденный мир в кошмарный хаос; Харрис почувствовал, что вот-вот потеряет сознание.

Асмодей! Асмодей! От этого имени стыла в жилах кровь. Наконец-то Харрис понял, кому оно принадлежит. И в тот же миг вспомнил значение забытого им слова Opfer: как послание смерти было оно.

Харрис хотел попробовать еще раз пробиться к двери, но куда там — ноги не слушались, а черные фигуры с таким решительным видом преграждали ему путь, что он тут же оставил это свое намерение. Следующим его побуждением было позвать кого-то на помощь, но, вспомнив, что здание школы стоит на отшибе и что, кроме них, здесь никого нет, он отказался и от этого намерения. Ну что же, делать нечего, придется смириться, по крайней мере он теперь знал, что ему угрожает.

Двое братьев бережно взяли его за руки.

— Брат Асмодей призывает тебя, — шепнули они. — Но готов ли ты?

Обретя наконец дар речи, Харрис пробормотал:

— Какое отношение имею я к брату Асм… Асмо… — Он запнулся и не мог больше вымолвить ни звука — уста отказывались произнести это имя. Он просто не мог его выговорить. Не мог — и все тут. А тут еще этот бедлам в голове!..

«Я пришел сюда с дружеским визитом», — хотел он сказать, но, к своему крайнему удивлению, с его губ сорвались совсем другие слова, одним из которых было то самое упорно не желавшее всплывать в памяти:

— Я явился сюда как добровольная жертва и готов к закланию…

Вот теперь он окончательно погиб! Не только мозг, но и все мышцы отказывались ему повиноваться. Харрис чувствовал, что находится у самого входа в мир фантомов, или демонов, поклоняющихся Всемогущему Повелителю, имя которого братья с таким трепетом произносят.

Все дальнейшее происходило как в кошмарном сне.

— В том тумане, который застилает наши лики пред Черным троном, приготовим добровольную жертву, — откликнулся басом Калькман.

Братья замерли, прислушиваясь к могучему, похожему на рев пролетающих снарядов, звуку, который ширился и рос вдалеке…

— Он идет! Он идет! Он идет! — хором возгласили братья.

Неистовый рев внезапно прекратился, повсюду распространились тишина и леденящий холод. И тогда Калькман — лицо у него было темное и

беспощадное — повернулся к остальным.

— Асмодей, наш Верховный брат, уже совсем рядом, — объявил он вдруг звенящим, как сталь, голосом.

Некоторое время все стояли молча — никто не шевельнулся, никто не проронил ни звука. Затем один из братьев приблизился было к англичанину, но Калькман предостерегающе поднял руку:

— Не завязывайте ему глаза — он добровольно приносит себя в жертву и потому заслуживает такой чести.

Только тут Харрис, к своему ужасу, осознал, что руки его уже связаны.

Брат молча отошел прочь; окружающие опустились на колени, в экстазе выкликая имя существа, появления которого они так ждали. Остался стоять только Харрис.

С омерзением и страхом внимая их громким призывам, он вдруг увидел, что стена в дальнем конце комнаты исчезла и на фоне усыпанного звездами ночного неба проступил контур исполинской человеческой фигуры. Облитая тусклым сиянием, она походила на статую в стальных латах, подавляющую своим величием и великолепием; от всего облика Верховного брата веяло таким духовным могуществом и такой гордой,

суровой тоской, что Харрис почувствовал: это зрелище не для его глаз, еще немного — и зрение откажет ему, и он провалится в Ничто, в полную пустоту.

Фигура высилась так недоступно далеко, что определить истинные ее размеры было невозможно, и в то же время она казалась странно близкой, так что тусклое сияние, исходившее от скорбного и грозного лика, проникало прямо в душу оцепеневшему Харрису, который не мог избавиться от ощущения, что это пульсирует некая темная звезда, облеченная всем могуществом духовного Зла, хотя, с другой стороны, ему мерещилось, будто ужасный лик находится в такой же близости от него, как и лица окружающих его братьев.

Вскоре комната наполнилась жалобными стонами, Харрис понял: это стенают его многочисленные предшественники. Сначала послышался пронзительный вопль человека, задыхающегося в предсмертной агонии, но даже и в этот свой последний миг восславляющего имя темного существа, которое благосклонно внимало этому восхвалению. В комнате, где Харрис стоял беспомощной жертвой, готовой к ритуальному закланию, от стены к стене заметались отры-

вистые крики и хрипы удушаемых. И самое страшное было в том, что стенали не только их сломленные тела, но и измученные, сломленные души. По мере того как то тише, то громче звучал этот душераздирающий хор, вырисовывались и лица самих страдальцев — на фоне бледного сероватого свечения Харрис увидел вереницу проплывающих мимо бледных, жалких человеческих образов, манивших его к себе нечленораздельной речью, словно он уже был одним из них.

После окончания этой скорбной процессии гигант медленно сошел с небес и приблизился к комнате, где находились его поклонники и пленник. В наступившей темноте вокруг Харриса сновали чьи-то руки, он чувствовал, что его переодевают. Кто-то надел ему на голову венец, кто-то туго затянул на нем пояс, и, наконец, кто-то обвил его шею чем-то тонким и шелковистым, и он даже в этой кромешной темноте, без единого светлого проблеска, понял, что это удавка — символ жертвоприношения и смерти. В этот момент простертые на полу братья завели свое печальное и страстное песнопение. Не двигаясь и не меняя своего положения, гигантская фигура вдруг оказалась рядом с Харрисом, заполнив собой все

пространство комнаты. Харрис уже не ощущал страха в обычном понимании этого слова. Из всех чувств у него осталось лишь предвкушение смерти — погибели души. Он уже не помышлял о спасении. Конец близок, и он это знал.

Вокруг Харриса поднялась волна распевно взывающих голосов:

— Мы чтим тебя! Мы поклоняемся тебе! Мы предлагаем тебе жертву!

Эти слова — Харрис воспринимал их как набор бессмысленных звуков — назойливо лезли ему в уши, обволакивали его сознание непроницаемой пеленой.

Величественный лик все так же медленно приблизился к нему почти вплотную, вбирая в себя своими скорбными глазами его душу. В тот же миг дюжина рук заставила Харриса опуститься на колени; он увидел над собой искаженное лицо Калькмана и почувствовал, что удавка затягивается.

В этот страшный миг, когда он уже лишился всякой надежды на чью-либо помощь, свершилось чудо: перед его угасающим испуганным взором, как луч света, внезапно возникло лицо постояльца, который во время ужина в гостинице сидел за дальним концом стола. И одно только

воспоминание об этом волевом, энергичном, здоровом человеке вселило в англичанина утраченное мужество.

Это было короткое и, как полагал Харрис, предсмертное видение, однако каким-то необъяснимым образом оно пробудило в нем надежду и даже наполнило его уверенностью в своем спасении. Такое мужественное, исполненное простоты и благости лицо некогда можно было встретить на берегах Галилеи; человек с таким лицом, вдохновляемый Небом, мог победить даже демонов преисподней.

И в последнем отчаянии Харрис всем своим существом воззвал к нему. В это решающее мгновение он вдруг снова обрел голос, хотя и не сознавал, что именно кричит и на каком языке — немецком или английском. Реакция, однако, последовала мгновенно. Братья все поняли, все поняла и серая фигура — воплощение Зла.

Воцарилось ужасающее смятение. Раздался оглушительный грохот — казалось, содрогнулась земная твердь. Однако впоследствии Харрис мог вспомнить только отчаянные крики братьев, охваченных невероятной тревогой:

— Среди нас истинный человек! Избранник Бога!

И вновь уши заложило от дикого рева — в воздухе словно рвались снаряды, — и Харрис в беспамятстве рухнул на пол…

Очнулся он от холода. Воспоминания о недавнем кошмаре, тут же нахлынувшие на него, заставили его вздрогнуть. Но куда делась комната, в которой творился весь этот дьявольский шабаш, — вокруг ни ламп с привернутыми фитилями, ни сигарного дыма, ни черных фигур, ни грозной серой фигуры. Харрис лежал на груде кирпичей и штукатурки, его одежда была пропитана росой, над головой ярко сверкали равнодушные звезды. Приподнявшись, он обнаружил, что находится на развалинах какого-то здания.

С трудом встав на ноги, Харрис огляделся: в туманной дали виднелся окружающий его со всех сторон лес, откуда тянуло пронизывающим холодом, неподалеку стояли темные деревенские домишки, а под ногами, вне всякого сомнения, обломки давно разрушенного дома: кирпичи почернели, частично обгоревшие стропила торчали подобно ребрам допотопного чудовища…

Итак, он на руинах какого-то сгоревшего, обвалившегося здания; заросли крапивы убедительно свидетельствовали, что оно перестало существо-

вать много лет тому назад.

Луна уже села за лесом, но звездное небо достаточно хорошо позволяло обозревать окрестность.

Из мрака выступил человек, и, приглядевшись, Харрис узнал в нем того самого незнакомца, которого встретил в гостинице.

— Кто вы — человек или призрак? — спросил Харрис и вздрогнул, ибо сам не узнал собственного голоса.

— Конечно, человек! И более того — ваш друг, — ответил незнакомец. — Я пришел сюда следом за вами.

Несколько минут Харрис молча взирал на незнакомца. Его зубы против воли продолжали выбивать дробь. Но простые слова, сказанные на его родном языке, и тон, каким они были произнесены, благотворно подействовали на его нервы.

— Слава богу, вы тоже англичанин! Эти немецкие дьяволы… — Запнувшись, Харрис приложил руку к глазам. — Но что с ними стало? Что стало с комнатой и… и… — Он боязливо ощупал свое горло, и долгий вздох облегчения вырвался из его груди. — Неужели все это мне приснилось?

Незнакомец подошел ближе и взял дико озирающегося Харриса под руку.

— Пойдемте отсюда, — сказал он ласково, но властно. — В пути вам непременно станет лучше, ибо место это проклято и является одним из самых страшных в мире!

Незнакомец помог Харрису перебраться через груды битого кирпича и вывел его на поросшую высокой секучей крапивой тропу.

Англичанин шел как во сне. Миновав искореженные железные ворота, они вышли на дорогу, белевшую в лунном свете. Только тогда Харрис собрался с духом и оглянулся.

— Что же это было? — воскликнул он все еще дрожащим голосом. — Как такое могло случиться? Ведь по пути сюда я своими глазами видел здание школы. Помню, мне открыли дверь, меня обступили какие-то люди, я слышал их голоса, пожимал им руки и видел эти глумливо ухмыляющиеся рожи куда яснее, чем вижу сейчас вас.

Харрис был в глубоком смятении. Виденное все еще стояло перед его глазами, и оно казалось намного реальней привычной реальности. Неужели все это — иллюзия?

Только теперь до его сознания дошли слова незнакомца, плохо расслышанные и понятые им несколько минут назад.

— Вы говорите, это проклятое место? — спросил

он, глядя на незнакомца в упор, потом, обернувшись, стал всматриваться во тьму: отсюда старая школа предстала его взору впервые.

Однако незнакомец поторопил его:

— Будет лучше, если мы как можно быстрее уберемся отсюда. Я последовал за вами в ту самую минуту, когда понял, что вы ушли, и нашел вас в одиннадцать.

— В одиннадцать? — вздрогнув, переспросил Харрис.

— Да. Я увидел, как вы упали. Дождался, пока вы придете в себя, а теперь… теперь отведу вас в гостиницу… Я сумел разорвать сплетение колдовских чар!

— Я перед вами в большом долгу, сэр, — сказал Харрис, начиная понимать, что сделал для него незнакомец. — Но я ничего не соображаю: в голове страшная сумятица. — Он все еще сильно дрожал и только сейчас заметил, что судорожно вцепился в руку своего спутника.

Миновав пустынную, полуразрушенную деревню, они пошли по большаку через лес.

— Эта школа давно, вот уже десять лет как разрушена, — сказал незнакомец. — Сожжена по приказу старейшин общины. С тех самых пор в деревне никто не живет, но ужасные события,

происходившие в те дни под крышей школы, все еще продолжаются. И двойники, призраки главных участников тех событий, по-прежнему творят свои дьявольские дела — те самые, что когда-то и привели к трагедии.

На лбу Харриса выступили крупные капли пота — их никак нельзя было объяснить неторопливой прогулкой по предутреннему лесу. Хотя Харрис видел идущего рядом с ним человека едва ли не впервые и ни единым словом не обменялся с ним в гостинице, тот внушал ему чувство глубокого доверия и спокойствия.

Все еще как во сне, Харрис, хотя и слышал каждое слово, произнесенное спутником, только на следующий день сумел осознать всю важность услышанного, а пока присутствие человека с удивительными глазами, чей взгляд он физически ощущал на себе в темноте, оказывало на его потрясенную душу самое благотворное влияние.

Харрис даже не удивился, сколь странным и своевременным было появление незнакомца у разрушенной школы, ему и в голову не пришло спросить его имя или хотя бы призадуматься, почему один турист так заботится о другом, — он просто шел бок о бок с ним, вслушивался в его спокойную, неторопливую речь, в такие нужные

после недавнего испытания слова поддержки. Лишь однажды, смутно припомнив где-то вычитанное, Харрис повернулся к своему спутнику и, почти помимо своей воли, спросил:

— Уж не розенкрейцер ли вы, сэр?

Однако незнакомец то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не слышит вопроса, — он продолжал говорить, точно Харрис и не прерывал его.

Они все шли и шли через лес; и вдруг воображению Харриса явилась знакомая с детских лет картина борения Иакова с ангелом: всю ночь боролся Иаков с неизвестным, превосходившим его силой, пока не вобрал всю эту силу в себя.

— На мысль об угрожающей вам беде меня навела ваша беседа со священником, — спокойно звучал из темноты голос идущего рядом. — После вашего ухода я узнал от него о дьяволопоклонении, тайно утвердившемся в сердце этой простой и набожной маленькой общины.

— Дьяволопоклонение? Здесь? — в ужасе пробормотал Харрис.

— Да, здесь. Группа братьев предавалась ему на протяжении нескольких лет, пока необъяснимые исчезновения местных жителей не привели к раскрытию тайны. Пожалуй, во всем мире не могли бы они найти более подходящего места для

своих гнусных богопротивных злодеяний, чем здешняя деревня, знаменитая своей святостью и благочестием.

— Какой кошмар! — пробормотал торговец шелками. — Какой кошмар! Если бы вы только знали, с какими словами они обращались ко мне…

— Я знаю все, — ответил незнакомец. — Я видел и слышал все. Поначалу моим намерением было дождаться конца дьявольского действа и тогда принять меры для полного их уничтожения, но ради спасения вашей жизни, — он говорил совершенно серьезно и убежденно, — а также ради спасения вашей души мне пришлось вмешаться несколько раньше.

— Ради спасения моей жизни? Стало быть, опасность была вполне реальной? Они в самом деле живые существа?.. — Харрис остановился посреди дороги и посмотрел на своего спутника: даже во мгле он видел, как сверкали его глаза.

— Это было сборище сильных, духовно развитых, но исполненных зла людей, точнее, их телесных оболочек, которые и после смерти стараются продлить свое мерзкое, противоестественное существование. Исполни они то, что задумали, вы, умерев, полностью оказались бы

в их власти и помогали бы им в осуществлении святотатственных замыслов. Ибо вы сами пришли в расставленную для вас западню: вы мысленно так живо, так явственно воссоздали свое прошлое, что сразу же вошли в контакт с силами, которые с давних пор были связаны с этим местом. И неудивительно, что вы не смогли оказать им никакого сопротивления.

Харрис крепко сжал руку незнакомца. В этот миг в душе англичанина оставалось место лишь одному-единственному чувству — благодарности, его даже не удивило, что незнакомец так хорошо осведомлен обо всех перипетиях случившегося с ним.

— Увы, именно злые чувства оставляют свои магнетические отпечатки на всем окружающем, — продолжал тот. — Кто слышал о заколдованных местах, где творились бы благородные дела, или о добрых и прекрасных призраках, разгуливающих при лунном свете? К сожалению, никто. Только порочные страсти обладают достаточной силой, чтобы оставлять после себя долговечные следы, праведники же обычно холодны и бесстрастны.

Все еще не оправившись от потрясения, Харрис слушал вполуха. Он, подобно человеку, который

не мог проснуться, словно сон воспринимал и эту прогулку под звездами, в сумерках октябрьского утра, и полный покоя лес вокруг, и клубы тумана на лужайках, и журчание сотен невидимых ручейков. В последующие годы он вспоминал об этой прогулке как о чем-то невероятно восхитительном, как о чем-то чересчур прекрасном для обыденной жизни. Он слышал и понимал лишь четверть того, что говорил ему незнакомец; впоследствии же все услышанное воскресло в его памяти и уже никогда больше не забывалось, однако воспоминания эти неизменно носили характер чего-то нереального, — казалось, то был удивительный сон, лишь отдельными отрывками сохранившийся в сознании.

Около трех часов утра они достигли наконец гостиницы, и Харрис благодарно, от всей души, пожал руку своему необычному спутнику, глядя в столь поразившие его глаза; потом он поднялся к себе в комнату, рассеянно и как бы в полусне обдумывая слова, которыми незнакомец завершил их беседу в ту самую минуту, когда они вышли из леса: «И если мысли и чувства могут жить еще долго после того, как породившие их мозг и сердце истлеют и превратятся в прах, то сколь же важно следить за их зарождением и оберегать от

всего, что может им повредить...»

Наш коммерсант спал в эту ночь гораздо крепче, чем можно было бы ожидать. И проспал до самого полудня.

Когда Харрис спустился наконец вниз, то узнал, что незнакомец уже покинул гостиницу. О, как горько пожалел он тогда, что даже не спросил имени своего неведомого спасителя!

— Да, он зарегистрировался в книге для постояльцев, — сказала девушка за стойкой в ответ на его вопрос.

Перелистав страницы, Харрис нашел последнюю запись, сделанную очень тонким и характерным почерком: «Джон Сайленс, Лондон».

1908

Артур Грей
1852–1940



Чернокнижник

События эти произошли в Джизус-колледже, и относятся они к 1643 году. В то время в Кембридже размещались парламентские войска под командованием полковника Кромвеля и отряды Восточной ассоциации. В колледжах устроились на постой солдаты, которые, согласно дошедшим до нас свидетельствам современников, вели себя буйно и причинили немалый ущерб жилым помещениям. В 1642 году глава Джизус-колледжа, доктор Стерн, был арестован Кромвелем при выходе из часовни; его доставили в Лондон и заключили в Тауэр. К лету 1643 года четырнадцать из шестнадцати членов совета колледжа были изгнаны; постоянных обитателей, кроме солдат, оставалось человек десять-двенадцать. Двоих уцелевших членов совета звали Джон Бойлстон и Томас Аллен.

Что касается мистера Бойлстона, к нашему рассказу имеет отношение только его роль в событиях, связанных с приездом в колледж Уильяма Даусинга, печально известного фанатика. Даусинг явился в Кембридж в декабре 1642 года, имея полномочия исполнить парламентский указ о

переустройстве церковных зданий. В дневнике, где этот невежественный шут чистосердечно описывает все причиненные им разрушения, имеется, в частности, запись о том, как 28 декабря он — в присутствии, а может быть, и с одобрения Джона Бойлстона — «подкопал ступени (то есть ступени алтаря) и поверг наземь Идолов и Ангелов, числом не менее 120». Сообщение Даусинга дополняет латинская «История» колледжа, составленная во времена Карла Второго одним из членов совета, неким доктором Джоном Шерманом. Шерман, в отличие от Даусинга, упоминает второго свидетеля этого святотатства — Томаса Аллена. Об этих двоих он несколько загадочно замечает: «Первый (то есть Бойлстон) наблюдал злодеяние из-за завесы; второй, не в силах смотреть на гибель своей альма-матер, сделал себя ее поминальной жертвой и, дабы не даться в руки лиходеям, по собственной воле лишил себя жизни».

В том, что Томас Аллен совершил самоубийство, сомнений нет, и что подтолкнули его к этому муки совести из-за невольного участия в святотатственном акте 28 декабря, ясно из свидетельства Шермана. Произошло, однако, и еще кое-что, о чем Шерман либо не знал, либо

не счел нужным поведать. Его книга посвящена исключительно колледжу и ученому сообществу. Адонирам Байфилд не удостоился упоминания в «Истории».

Байфилд был капелланом при парламентских войсках в Кембридже, ему досталось жилье в Джизус-колледже, на втором этаже, над входными воротами. Ниже располагалась комната привратника, которая в то время служила оружейным складом. Последний этаж привратной башни сохранял за собой Томас Аллен. Других квартир в башне не имелось. К началу летних каникул в 1643 году Аллен был единственным оставшимся в колледже членом совета.

О том, что за птица был Байфилд и как он связан с настоящим рассказом, дает представление текст из пухлого томика старинных проповедей времен английской республики, который хранится в библиотеке колледжа. Среди собранных в томе проповедей имеется одна — с датой «1643 год» и титульной страницей, на которой значится:

«АРХИВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ против баалитова греха Кудесников и Звездочетов, проповеданное солдатам полковника Кромвеля в церкви Гроба (то есть Гроба Господня) в Кембридже, в году 1643-м, усерднейшим пастором

Адонирамом Байфилдом, недавно почившим в бозе; в основу каковой проповеди положен стих 43 главы 7 “Деяний апостолов”: “Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона”».

Как само рассуждение, так и его заглавие указывают на принадлежность автора к числу фанатиков, опиравшихся на человеческое невежество и предубежденность против «плотского» учения и тем самым поощрявших зверства солдатни Кромвеля, когда она в 1643 году расправлялась с университетскими «умниками». Все, что знал Байфилд, сводилось к одной книге — Библии. Чтобы ее истолковать, достаточно, полагал он, содержащегося в ней же откровения. Разве нуждается в знании греческого тот, кто глаголет о тайнах на неведомых языках; разве просветит комментарий того, чей дух вознесся до сияния третьего неба?

Аллен, надо сказать, тоже был своего рода фанатиком, погрязшим в мистических умствованиях. Его интересы, для тех времен не вполне обычные, были направлены на математику и астрономию. В середине семнадцатого века эти науки воспринимались с подозрением не только

умами, помраченными, как у Байфилда, религиозной манией. Англикане, пуритане, католики — все сходились на том, что наиболее известный из современных им математиков и астрономов, Декарт, исповедует атеистические взгляды. Математиков приравнивали к чернокнижникам: Томас Гоббс рассказывает, что в его дни в Оксфорде подобные занятия рассматривались как «родственные магии» и отцы, опасаясь за души своих чад, избегали отдавать их в этот университет. Насколько глубоко угнездился этот предрассудок в уме Адонирама, ясно из его проповеди. Поводом для нее послужило следующее событие. Как-то поздним вечером один корнет, человек набожный, выходя с молитвенного собрания в колледже, упал на крутой неосвещенной лестнице и сломал себе шею. Двое или трое солдат заболели дизентерией. Обсуждая эти несчастья, вояки каким-то образом связывали их с Алленом и его научными занятиями. В голове Адонирама досужие выдумки обратились в уверенность.

Дело в том, что Аллен был личностью загадочной. То ли полностью уйдя в ученые занятия, то ли опасаясь грубых выходок солдат, он редко покидал свою комнату. Быть может, Аллена удерживала на месте скорбная печаль, которой

Шерман объясняет его ужасную смерть. Прожив три месяца по соседству с Алленом, Байфилд встречался с ним раз десять, не более, и тайна его запертой двери порождала у капеллана самые фантастические предположения. Час за часом из верхней комнаты доносилось бормотание: то громче, то тише, речь Аллена лилась непрерывным потоком. Никто на нее не откликался; случайно выхваченные слушателем отдельные слова не наводили ни на какие догадки о смысле фраз. Однажды Байфилд ясно различил произнесенное громче обычного зловещее восклицание: «Изыди, сатана, изыди!» В другой раз он заметил Аллена через полуоткрытую дверь: тот стоял перед исписанной мелом доской — фигуры и символы на ней Байфилд счел магическими знаками. По вечерам он часто наблюдал из двора освещенное окно астролога; когда Аллен обратил к небу подзорную трубу, в Байфилде утвердилась идея, что ему выпало опасное соседство с одним из чародеев, шептунов и чревовещателей, о которых упоминает Священное Писание.

Далее случилось нечто странное, отчего подозрения Байфилда еще больше укрепились. Однажды ночью Аллен мягкой поступью прошел мимо его комнаты. Приоткрыв дверь, Байфилд

увидел, как тот со свечой в руках скрылся внизу за поворотом лестницы. Байфилд потихоньку последовал за ним в темноте: Аллен вошел в привратницкую. Солдаты спали, склад оружия никто не охранял. Через освещенное окно Байфилд видел, как Аллен снял с полки на стене седельный пистолет. Внимательно рассмотрел его, потрогал затвор, взвесил пистолет в руке, прицелился, вернул оружие на полку и, прихватив свечу, поднялся обратно к себе. Вихрь подозрений закрутился в мозгу Байфилда, и даже утром, убедившись при построении, что все пистолеты целы, он не успокоился. На той же неделе умер один из больных.

Обдумывая это происшествие, Адонирам готов был поклясться, что его сосед спознался с сатаной. И вскоре он получил новое тому доказательство. Со временем Байфилд заметил, что по ночам дверь комнаты Аллена потихоньку отворяется. По лестнице пробегает частый топот, который сменяется тишиной. Через час-два топот слышится снова, достигает комнаты Аллена, и тогда дверь закрывается. Лежать без сна и ждать призрачных шагов стало сущей мукой для болезненного воображения Байфилда. От страха он молился в постели и пел псалмы. Убедившись, что заснуть

при таких обстоятельствах невозможно, он стал караулить этот блуждающий в ночи ужас, чтобы раскрыть его загадку. Поначалу он ничего не различал в полном мраке, но однажды, взяв свечу, сумел уловить мелькнувшую у подножия лестницы тень. Очертаниями она походила на большого черного кота.

Байфилд еще больше встревожился, в голове у него зароились новые вопросы. Он потихоньку поднялся к двери Аллена. Дверь была открыта, внутри горела свеча. Оттуда, где находился Байфилд, комната просматривалась вся, до последнего уголка. Он увидел доску, исписанную иероглифами, раскрытые волшебные книги на столе, магические инструменты, неизвестно для чего предназначенные. Ни единой живой души в комнате не было, и тишину нарушало только шуршание бумаги, которую шевелил ночной ветерок из открытого окна.

Капеллан окончательно уверился в чудовищной истине. Виденное им Нечто — никакой не кот. Это либо сам нечистый, либо чародей, обернувшийся зверем. Какое зло он замыслил? Кто назначен следующей жертвой? И тут Байфилду вспомнился древний рассказ о том, как Финеес покарал почитателей Ваал-Фегора и тем отвра-

тил от Израиля ярость Господню. Возьмись он, Байфилд, свершить священное правосудие над злодеем, не будет ли сей подвиг вменен ему в праведность в роды и роды вовек? Он спустился в привратницкую — в оружейный склад. Там на полке должно было лежать шесть пистолетов. Как ни странно, их обнаружилось только пять, и это лишний раз подтверждало опасения Байфилда. Он выбрал один, зарядил, взвел курок и, спрятавшись неподалеку от лестничной двери, у стены, от которой падала густая тень, стал ждать возвращения чародея. Чтобы не промахнуться, он оставил у подножия лестницы горящую свечу.

Минута за минутой, час за часом медленно текли в зловещей тишине, а Байфилд ждал, читая про себя молитвы. Наконец что-то — не зрение, не слух, а какое-то шестое чувство подсказало ему, что в непроглядной тьме кто-то пробежал. Совсем близко, в круге света от свечи, словно бы мелькнула тень. Это возвращался в дом кот. «Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены!» — вырвался у Адонирама торжествующий возглас, и он нажал на спусковой крючок.

Вместе с выстрелом двор огласил душераздирающий крик — не человеческий и не звериный. В возбужденном воображении капеллана он

прозвучал воплем потерянной души, терзаемой вечными муками. В мгновение ока зверь скрылся в темном дворе, и Байфилд не стал его преследовать. Уверенный, что дело сделано, преисполненный набожного ликования, он вернул пистолет на полку. Топот за дверью той ночью не повторился, Байфилд спал спокойно.

На следующий день в роще, окружавшей колледж, обнаружили тело Томаса Аллена; грудь его была прострелена. По-видимому, он приполз туда со двора. Кровавый след тянулся от подножия лестницы, где, как все решили, Аллен застрелился; на складе недосчитались одного пистолета. В зданиях, выходивших во двор, иные жильцы проснулись ночью от выстрела. Общий вывод был таков, как изложил Шерман: к фатальному поступку Аллена подтолкнули мрачные мысли.

О своей роли в ночных происшествиях Байфилд умолчал. Религиозный экстаз сменился наутро осознанием зловещей реальности, Байфилда охватили сомнения и страх. Какие бы догадки ни строили остальные, он был убежден, что Аллен пал от его руки. Но не жалость к погибшему томила его душу, а мучительный вопрос: что же будет с ним самим? Какую оценку получит его деяние пред троном Всевышнего? В вообра-

жении возникли мрачная картина Страшного суда, раскрытая книга и обличающий его дьявол-клеветник, и жестокий приговор братоубийце: «Ныне проклят ты от земли».

Вечером он слышал, как в верхнюю комнату принесли мертвеца, уложили на кровать, оставили одного, закрыли дверь. Шаги на лестнице отзвучали, наступила гнетущая тишина. Чем больше сгущались сумерки, тем она делалась невыносимей. Как бы желал Байфилд услышать знакомое глухое бормотание! Он с жаром взмолился о том, чтобы жуткое настоящее сгинуло, часы пошли бы вспять, как тень по ступеням Ахазовым, и все сделалось бы таким, как вчера.

Закончив молитву, он уловил внезапный шум. Нет, слух его не обманул. Очень тихо дверь Аллена отворилась, и с лестницы вновь донесся знакомый мягкий топот. Шаги миновали комнату Байфилда, прежде чем он успел подняться с колен и открыть дверь. На мгновение мрак в душе Байфилда разогнала вспышка надежды. Что, если его молитва услышана и Аллен не умер, что, если события последних суток привиделись во сне, насланном духом тьмы? Потом Байфилду сделалось еще страшнее. Аллен мертв, в этом не приходится сомневаться. Но кто же тогда проби-

рался по лестнице?

Следующий час Байфилд сидел и трясся от страха. Мыслями его завладела, как неотвязный кошмар, открытая дверь наверху. Так или иначе, ее нужно закрыть, пока гнусная тварь не вернулась. Нужно оградить бедные останки от злобных сил, стремящихся ими завладеть. Фантазия эта прочно засела в его воспаленном мозгу. Душа его содрогалась, но он должен был исполнить задуманное. Холодея от ужаса, Байфилд открыл дверь и выглянул наружу.

На верхней лестничной площадке мигала свеча. Он заколебался. Но кот мог вернуться в любую минуту, и страх придал Байфилду решимости. Взбежав по лестнице, он остановился у порога Аллена. Как и накануне, дверь была открыта. Внутри виднелись те же книги, инструменты, магические знаки; пламя свечей, колеблясь от ночного ветерка, бросало на стены и пол летучие тени. Чтобы рассмотреть все это, Байфилду хватило одного взгляда, вместившего в себя и кровать, куда несколько часов назад положили бренные останки Аллена. Под покрывалом угадывалась ровная, как зеркало, поверхность. Мертвого чернокнижника там не было.

Пока Байфилд стоял, приросши к месту, из окна

налетел порыв ветра и загасил свечу у двери. В безмолвной тьме до слуха Байфилда долетел звук шагов. Крадущиеся, едва слышные, они приближались к лестничной площадке, и капеллан в панике отступил назад, в комнату Аллена. Шаги достигли последнего лестничного марша, мрак на пороге рассеялся, и Байфилд увидел. В круге мертвенного света, исходившего, казалось, от него самого, стоял кот — страшный, окровавленный, грудь в лоскутьях растерзанной плоти. Медленно зайдя в комнату, он уставил на Байфилда угрюмо-враждебный взгляд. Тот отступил дальше, в угол, где стояла кровать. Тварь двинулась следом. Подобралась для прыжка. Колени под Байфилдом подогнулись, он опустился на кровать, увидел, что тварь уже оттолкнулась от пола, закрыл глаза и, чудом обретя дар речи, отчаянно взмолился: «Господи, спаси и сохрани!» В ужасе он рухнул навзничь и обеими руками схватился за покрывало. Нащупав под ним окоченевшее тело чернокнижника, Байфилд открыл глаза. В комнате снова царил мрак, призрачный кот исчез.

1912

Роджер Патер
1874–1936



Наследство астролога

Двадцать шестого мая, в день святого Филиппа, сквайр празднует свой день рождения, и неизменно он приглашает к себе на обед тесный круг самых близких друзей. Однако, как грустно повторяет сквайр, большинство своих ровесников он пережил, и в последние годы общее число сотрапезников редко превышает десяток, включая сюда самого сквайра и одного-двух знакомых, которым случится в это время жить в усадьбе на правах гостей. В первый раз, когда я был туда зван, за столом сидело всего-навсего шесть человек. Во-первых, отец Бертранд, английский монах-доминиканец, один из ближайших друзей сквайра, который регулярно гостил у него летом месяц-другой. Вторым был сэр Джон Джервас, местный баронет и исследователь древностей — член Общества антикваров и один из авторитетнейших современных знатоков искусства цветного стекла, а помимо того, один из немногих в окрестностях Стантон-Риверза дворян, исповедующих католичество. Третьим назову герра Ауфрехта, немецкого профессора, прибывшего в Англию с целью изучить некоторые рукописи

из Британского музея и имевшего рекомендательное письмо от общего приятеля из Мюнхена. В-четвертых, присутствовал священник из соседнего прихода — бо`льшую часть жизни он состоял членом совета одного из кембриджских колледжей, но несколько лет назад принял от колледжа бенефиций и с тех пор тесно сдружился со старым сквайром, которым, вкупе с самим собой, я и завершу перечень присутствующих.

Стантон-Риверз представляет собой постройку с небольшим четырехугольным внутренним двором; северный корпус отведен под жилье слуг и кухню, столовая располагается в северном конце западного корпуса. Тем не менее, когда у нас нет гостей, еду сквайру всегда подают в небольшую светлую гостиную в восточном корпусе, где неяркие, цвета слоновой кости стены увешаны изысканными французскими пастелями старинной работы, а вся обстановка состоит из чиппендейловской мебели, изготовленной в свое время для дедушки нынешнего сквайра самим знаменитым краснодеревщиком (в семейном архиве сохранились подлинник контракта и все счета).

Обед по случаю дня рождения, однако, событие особое, и устраивается он всегда традиционным,

подобающим образом — в столовой; путь в нее пролегает через красивую галерею, занимающую почти всю протяженность западного корпуса, в которой сквайр оборудовал библиотеку. В столовой, просторной комнате с прекрасными пропорциями, сохранилась первоначальная отделка времен короля Якова: темные дубовые панели, резной карниз, изысканная лепка плафона, плетеный орнамент которой включает в себя множество раковин (с герба Риверзов) в комбинации с головами леопардов (с герба Стантонов). Камин, обширный и глубокий, снабжен вместо решетки блестящими стальными «собаками», в резном рисунке навершия, достигающего самого потолка, повторяются все элементы гербов, коими могут похвалиться оба семейства, а также оба их девиза, образующие столь счастливое единство: Sans Dieu rien[16] и Garde ta Foy [17].

Мне думается, сквайр и в день рождения предпочел бы собрать гостей не в столовой, но у него не хватило духу огорчить Эйвисона, дворецкого. В самом деле, этот день — единственный в году, когда Эйвисон может проявить себя в полном

---

[16] Примечания: 16
Без Бога — ничего! *(фр.).*

[17] Примечания: 17
Храни веру *(фр.).*

блеске, уставив стол самыми красивыми, какие имеются в доме, образчиками фамильного столового серебра, стекла и фарфора, в то время как кухарка миссис Паркин и садовник Сондерс со своей стороны делают все возможное, дабы достойно поддержать его усилия.

Вечер выдался редкостный, мы сидели в библиотеке, беседовали и наблюдали, как меркнет свет в саду за окном, пока Эйвисон, открыв складную дверь, не объявил, что кушать подано. Прежде мне доводилось видеть эту комнату исключительно в déshabillé [18], и я удивился тому, как нарядно она может выглядеть. Темные панели в теплых отсветах заката, проникавших через широкие, со средниками, окна, составляли превосходный фон для обеденного стола, с притененными свечами, нежными живыми букетами, сверканьем стекла и серебра, и я не мог не признать, что Эйвисону удалось создать подлинный шедевр. Не иначе как та же мысль пришла и прочим гостям: не успел отец Бертранд прочитать молитву, как у сэра Джона вырвался восхищенный возглас:

— Дорогой друг, да это подлинное великолепие!

---

[18] Примечания: 18
Здесь: будничный вид *(фр.)*.

Однажды я к вам заберусь и утащу все ваше стекло и серебро. Разве устоишь перед искушением, когда глаз дразнит такая красота!

Хозяин улыбался, но я заметил, что он не сводит глаз с центра стола и веки его слегка опущены, а последнее, как мне было известно, свидетельствовало о тщательно скрываемом недовольстве. Я тоже стал рассматривать центр стола, но не успел понять, в чем дело, поскольку меня отвлек мой сосед, германский профессор, который, можно сказать, возопил:

— Mein Gott[19], герр патер, что это такое? — Он указал на роскошное серебряное изделие в центре стола.

— Мы называем это фонтаном Челлини, герр Ауфрехт, — пояснил сквайр, — хотя это никакой не фонтан, а чаша для розовой воды, а насчет Челлини — у меня нет никаких доказательств, что это его работа.

— Какие токазательства?! — воскликнул немец. — Эта работа — сама себе токазательство. Чего фам еще? Такое мог создать лишь один мастер — Бенвенуто. Но как к фам попало это блюдо?

---

[19] Примечания: 19
Боже мой *(нем.)*.

Веки хозяина объясняли его настроение красноречивее всяких слов, и я боялся, что это заметят и прочие гости, но сквайр сумел овладеть собой и ответил совершенно невозмутимо:

— О, оно уже три столетия находится в собственности нашего семейства: считается, что его привез из Италии сэр Хьюберт Риверз, мой предок. Его портрет висит там, у подножья лестницы.

Тут я решил, что догадываюсь, чем обеспокоен сквайр: репутация названного предка была весьма далека от идеала, и — так уж учудила наследственность — черты сквайра были практическим повторением лица сэра Хьюберта (старый патер, святая душа, втайне очень из-за этого печалился). Тут, к счастью, приходской священник перевел разговор на другую тему, герр Ауфрехт не возобновлял своих расспросов, и веки сквайра вскоре вернулись в прежнее, привычное положение.

За едой немец выказал превосходные ораторские качества, беседа превратилась в обмен репликами между ним и священником отцом Бертрандом, а прочим, то есть нам троим, оставалось только слушать и наслаждаться. Однако же разговор то и дело выходил за границы моего

разумения, и в эти минуты я вновь присматривался к большой чаше для розовой воды, которая блестела и сверкала в центре стола.

Прежде всего меня несколько удивило, что я вижу ее в первый раз, поскольку Эйвисон, знавший о моем интересе к старинному серебру, водил меня в кладовую и показывал всю посуду. Впрочем, заключил я, такой ценный предмет держали, наверное, в особом хранилище, отдельно от прочих вещей.

Еще более меня поразил необычный замысел: каждый завиток, каждая линия этого прекрасного изделия словно бы намеренно были направлены так, чтобы привлечь внимание к большому шару из горного хрусталя, который образовывал его центр и вершину. Сама чаша, наполненная розовой водой, находилась под шаром, а поддержкой ему служили четыре изысканные серебряные статуэтки; непрестанная игра отблесков в воде и хрустале так завораживала, что я задал себе вопрос, почему ни один из позднейших мастеров не перенял эту идею: насколько мне было известно, изделий подобной формы больше не существовало.

Со своего места в конце стола, напротив сквайра, я вскоре заметил, что он тоже не следит за

разговором, а рассматривает хрустальный шар. Внезапно сквайр удивленно выпучил глаза, приоткрыл рот и буквально впился взглядом в хрусталь. Но тут подошел Эйвисон, чтобы забрать его тарелку; это вывело сквайра из непонятного забытья, он присоединился к разговору и, как мне показалось, до конца обеда старался смотреть куда угодно, только не на хрустальный шар.

Выпив за здоровье сквайра, мы переместились в библиотеку, куда Эйвисон принес кофе; около десяти лакей сообщил, что подана коляска сэра Джона. Он еще раньше пообещал отвезти домой священника, так что оба вскоре уехали и, кроме сквайра и меня, в библиотеке остались только профессор и отец Бертранд. Я немного опасался, что герр Ауфрехт снова заговорит о фонтане Челлини, но, к моему удивлению, как только удалились сэр Джон со священником, сквайр сам вернулся к теме, которой, как мне казалось, до этого избегал.

— Вы как будто заинтересовались фонтаном для розовой воды, герр Ауфрехт? — заметил он. — Не хотите ли теперь, когда другие гости уехали, его осмотреть?

Расплывшись в улыбке, немец охотно принял предложение, сквайр же тем временем позвонил

в колокольчик и распорядился, чтобы Эйвисон принес фонтан Челлини в библиотеку для герра Ауфрехта. Судя по виду, дворецкий обрадовался не меньше профессора, и скоро шедевр во всем его великолепии оказался на небольшом столике, в ярком свете лампы, падавшем из-под абажура.

Поток слов замер у профессора на устах: блестящий собеседник уступил место знатоку. Он подсел к столику, вынул из кармана лупу и, медленно вращая фонтан, принялся тщательно его осматривать. Целых пять минут он, поглощенный этим занятием, молчал и при этом, как я заметил, то и дело обращал взгляд к венчавшему изделие шару, который поддерживали четыре изящные статуэтки. Наконец профессор откинулся на спинку стула и заговорил:

— В том, что это Челлини, сомневаться не приходится, однако замысел для него необычен. Наверное, общий вид изделия продиктован заказчиком. Вершина в виде большого хрустального шара — нет, самому Бенвенуто такое несвойственно. А что вы об этом думаете? — Профессор обратил вопрошающий взгляд к сквайру.

— Чуть погодя, профессор, я расскажу вам об этом все, что знаю, — отозвался старый патер, — но прежде объясните, пожалуйста, почему вы

думаете, что Челлини следовал чьим-то указаниям?

— Ach so [20], — ответил немец, — все дело в хрустальном шаре. Его слишком много, он — как бы это сказать по-английски? — очень уж «бросается в глаз». Вы ведь читали «Мемуары» Бенвенуто? — (Сквайр кивнул.) — Тогда вам и самому должно быть понятно. Помните, он сделал большую пряжку — застежку для ризы Климента Septimus[21]? Папа показал ему большой бриллиант и распорядился поместить его на застежку. Любой другой художник поместил бы бриллиант в центр композиции. Но что сделал Челлини? Нет, он отвел бриллианту место под ногами Бога Отца, так что блеск большого камня украсил изделие, но не отвлек внимание от композиции: ars est celare artem [22]. Здесь же, — профессор положил ладонь на хрустальный шар, — здесь сделано иначе. Эти статуэтки есть само совершенство, они куда ценнее, чем шар. Он их подавляет, просто губит. Первым делом вы видите его, потом тоже

---

[20] Примечания: 20
Ну как же *(нем.)*.

[21] Примечания: 21
Седьмого *(лат.)*

[22] Примечания: 22
Истинное искусство — это умение скрыть искусство *(лат.)*.

его, всегда его. Нет, он здесь не ради искусства, а ради какой-то иной, не художественной надобности. Его как-то использовали, я просто уверен.

Замолкнув, профессор тут же повернулся к сквайру. Во взгляде его читалась убежденность. Я тоже посмотрел на сквайра: старый священник тихо улыбался, черты его выражали согласие и восхищение.

— Вы совершенно правы, профессор, — спокойно подтвердил он, — шар помещен сюда неспроста, во всяком случае, я твердо в этом уверен и жду, чтобы вы сказали, какую надобность имел в виду заказчик.

— Нет-нет, герр патер, — запротестовал профессор. — Если надобность вам известна, к чему мои предположения? Не лучше ли будет, если вы сами нам все расскажете?

— Хорошо, — согласился сквайр и тоже подсел к столику.

Мы с отцом Бертрандом последовали его примеру, и, когда все устроились, сквайр повернулся к профессору и начал:

— За обедом я уже упомянул, что это изделие было привезено из Италии моим предком, сэром Хьюбертом Риверзом, так что в первую очередь я должен кое-что вам о нем рассказать. Родился он

году приблизительно в тысяча пятисотом и прожил больше девяноста лет, то есть срок его жизни практически совпал с шестнадцатым веком. Едва Хьюберт достиг совершеннолетия, отец его умер, и таким образом сын еще в юношеском возрасте сделался до некоторой степени важной персоной. Через год или два Генрих Восьмой посвятил его в рыцари, и вскоре сэр Хьюберт в составе свиты английского посла был отправлен в Рим.

Там на блестящего молодого человека обратили внимание, и спустя недолгое время он оставил дипломатический пост и вошел в круг приближенных папы римского, хотя никакого официального назначения не получил. Когда произошел разрыв между Генрихом и папой, сэр Хьюберт присоединился к свите имперского посла, чем обезопасил себя от собственного государя, который не мог себе позволить поссориться еще и с императором; кроме того, отныне исключались какие бы то ни было неловкие вопросы относительно религиозных убеждений сэра Хьюберта.

О его жизни в Риме мне практически нечего поведать, замечу только, что, если верить семейной легенде, он вел себя как типичный представитель эпохи Ренессанса. Понемногу ради забавы

уделял время искусству, литературе и политике, но куда больше — астрологии и чернокнижию, будучи членом прославленной — или же ославленной — Академии. Вы помните, наверное, что это общество, основанное в пятнадцатом веке печально известным Помпонио Лето, устраивало свои встречи в одной из местных катакомб. При папе Павле Втором члены Академии были взяты под стражу и обвинены в ереси, однако доказать ничего не удалось, и впоследствии, как полагали современники, все они вернулись на праведную стезю. Ныне известно, что они не только не исправились, но окончательно погрязли в пороке. Изучая язычество, они дошли до поклонения Сатане; наконец их деятельность вновь сочли подозрительной, и следствие было возобновлено.

Сэр Хьюберт, однако, почуял, куда дует ветер, воспользовался своей близостью к имперскому послу и беспрепятственно удалился в Неаполь. Здесь он дожил до восьмидесяти лет, и никто в Англии не ждал, что он вернется на родину. Тем не менее он вернулся и привез с собой большое собрание книг и рукописей, картины, а также этот образчик ювелирного искусства. Смерть и похороны сэра Хьюберта пришлись на последнее десятилетие шестнадцатого века.

Племянник сэра Хьюберта, унаследовавший от него имение, был благочестивый католик, выпускник семинарии в Сент-Омере. Просмотрев манускрипты сэра Хьюберта, он сжег бо`льшую их часть, но оставил один том, где содержалась опись привезенных из Неаполя вещей. Фонтан там тоже упомянут. Собственно, его описание занимает целую страницу: имеется эскизик, указан автор — Челлини и добавлено еще несколько фраз, смысла которых я так и не понял. Но не сомневаюсь в том, что шар использовался для дурных целей, вот почему мне не нравится, когда его ставят на стол. Если бы Эйвисон меня спросил, я запретил бы ему доставать фонтан из хранилища.

— Тогда я очень рад, что он вас не спросил, mein Herr [23], — напрямик заявил немец, — а то как бы я увидел этот шедевр? А упомянутая вами опись — можно мне взглянуть?

— Конечно, герр Ауфрехт, — кивнул сквайр, подошел к одному из книжных шкафов, отпер стеклянную дверцу и извлек на свет небольшой томик в выцветшем переплете из красной кожи с золотым тиснением.

---

[23] Примечания: 23
Сударь *(нем.)*.

— Вот она, эта книга. Сейчас я найду страницу с эскизом. — Вскоре он протянул томик профессору. Заглянув туда, я увидел довольно мелкий рисунок, на котором, вне всякого сомнения, была изображена стоявшая перед нами чаша. Внизу было написано несколько строчек; и рисунок и надпись были сделаны рыжеватыми выцветшими чернилами.

Профессор вновь извлек свою лупу и с ее помощью прочел под рисунком:

«Предмет: Vasculum argenteum, crystallo ornatum in quattuor statuas imposito. Opus Benevenuti, aurificis clarissimi. Quo crystallo Romae in ritibus nostris pontifex noster Pomponius olim uti solebat. [Сосуд из серебра, украшенный хрустальным шаром, который поддерживают четыре статуэтки. Работа Бенвенуто — славнейшего из ювелиров. В былые дни, в Риме, сей шар использовал при ритуалах наш первосвященник Помпоний]».

— Что ж, как будто все вполне понятно, — заметил отец Бертранд, который внимательно прислушивался к диалогу сквайра с профессором. — Opus Benevenuti, aurificis clarissimi — можно отнести только к Челлини, а последняя фраза, безусловно, наводит на подозрения, хотя, как именно использовался шар, там не сказано.

— Но это не все, — прервал его герр Ауфрехт, — тут есть еще одна надпись, много бледнее. — Он прищурился, вглядываясь, и наконец воскликнул: — Да это же по-гречески!

— В самом деле, — оживился сквайр, — вот почему я не сумел ее разобрать. Весь мой греческий выветрился, едва я успел закончить школу.

Профессор тем временем вынул свою записную книжку и, разбирая надпись, стал заносить туда слово за словом. Мы же с отцом Бертрандом воспользовались случаем, чтобы изучить рисунок небольших плакеток, которыми было украшено основание фонтана.

— Ну вот, готово, — торжествующе объявил вскоре герр Ауфрехт. — Слушайте, я буду переводить. — Немного подумав, он прочитал нам следующее:

«В шаре вся истина о том, что есть, что было и что грядет. Кто смотрит, тому откроется, кто ищет, тот обрящет. Склони слух, о Люцифер, звезда рассвета, к смиренному рабу твоему, войди в мое сердце и пребудь в нем, ибо ты мой почитаемый господин и повелитель.

Фабий Британник».

— Фабий Британник! — воскликнул сквайр, когда профессор замолк. — Но это же слова с ос-

нования языческого алтаря, что на заднем плане портрета сэра Хьюберта!

— Совершено очевидно, что в Академии его называли Фабием Британником, — отозвался профессор. — Там всем давали классические имена взамен их собственных.

— Да, не иначе, — согласился сквайр. — Стало быть, он поклонялся Сатане. Ничего удивительного, что он оставил по себе такую недобрую память. Да, но… конечно же! — внезапно вскричал он. — Теперь мне все понятно.

Удивленные этой вспышкой, мы все подняли глаза на сквайра, но он молчал. В конце концов отец Бертранд проговорил негромко:

— Наверное, Филип, тебе есть что нам поведать. Так скажешь или нет?

Немного поколебавшись, старый священник ответил:

— Что ж, если хотите, слушайте, придется только попросить у вас прощения, что не называю имени. Хотя главное действующее лицо уже много лет покоится в могиле, я все же предпочел бы его не называть.

Когда я был совсем молод и не принял еще решение стать духовным лицом, у меня завелся в Лондоне приятель-медиум. Он был тесно связан

с другим, очень известным медиумом — Хьюмом, да и сам обладал незаурядным даром в этой области. Приятель неоднократно и настойчиво приглашал меня на их сеансы, но я всегда отказывался. Тем не менее отношения наши оставались вполне дружескими, и в конце концов он явился ко мне в гости сюда, в Стантон-Риверз.

По профессии приятель был журналист, художественный критик, а потому однажды вечером, когда других гостей не было и мы обедали вдвоем, я распорядился, чтобы дворецкий, предшественник Эйвисона, поставил на стол фонтан Челлини. Желая услышать независимое суждение, я не стал ни о чем предупреждать приятеля, но, едва увидев фонтан, он, как сегодня наш друг-профессор, восхитился и заявил, что произведение, несомненно, вышло из рук самого Бенвенуто.

Я подтвердил, что оно всегда считалось работой Челлини, но намеренно умолчал о сэре Хьюберте и о своих догадках, как именно использовали когда-то магический кристалл, приятель же не стал расспрашивать меня о его истории. Тем не менее с каждой минутой он все более погружался в молчание. Иногда он понимал мои слова лишь со второго или третьего раза, так что мне сделалось не по себе и я облегченно вздохнул, когда

дворецкий принес графины и оставил нас одних.

Гость сидел справа от меня, по эту сторону стола, чтобы удобней было беседовать, и я заметил, что он не сводит глаз с фонтана, стоявшего прямо перед ним. Ничего странного в этом не было, и мне вначале не приходило в голову связать этот факт с его рассеянностью и молчанием.

Внезапно гость уперся пристальным взглядом в хрустальный шар, подался вперед и в каких-нибудь двух футах от него застыл как зачарованный. Мне даже трудно описать, какое внимание и напряжение отразились в его чертах. Он словно бы смотрел в самую сердцевину шара — не *на* шар, поймите, а вглубь его, туда, где скрывалась, по-видимому, тайна столь неодолимо притягательная, что все существо наблюдателя было занято только ею.

Минуту-другую приятель не говорил ни слова, на лбу у него заблестели капельки пота, дыхание сделалось шумным, напряженным. Внезапно я почувствовал, что пора как-то вмешаться, и тут же, не подумав, громко произнес:

«Я требую: скажите мне, что вы видите».

По телу приятеля пробежала дрожь, но глаза по-прежнему смотрели на хрустальный шар. Потом его губы дернулись, и он тихо зашептал, с

большим трудом выговаривая слова. И сказал он примерно вот что:

«Низкая, плоская арка, под ней что-то вроде плиты, сзади картина. На плите — скатерть, на скатерти — высокий золотой кубок, перед ним лежит тонкий белый диск. Рядом какое-то чудовище вроде гигантской жабы. — Приятель содрогнулся. — Но для жабы оно слишком большое. Блестит, в глазах горит злобный огонь. Просто жуть. — Внезапно он перешел на пронзительные ноты и зачастил, словно не поспевая за быстро менявшимся зрелищем: — Человек на переднем плане — тот, что в плаще с крестом на спине, — держит в руке кинжал. Заносит руку, целит кинжалом в белый диск. Пронзает диск. Течет кровь! Белая скатерть уже алая от крови. Но чудовище — на него попали брызги, и жаба корчится, словно от боли. Спрыгнула с плиты, пропала. Все повскакали с мест, вокруг переполох. Все разбежались по темным коридорам. Остался только один — тот самый, с крестом на спине. Лежит на полу без чувств. Золотой кубок, белый диск, кровавая скатерть — по-прежнему на плите, картина на заднем плане…» — Словно выбившись из сил, медиум перешел на шепот.

Понимая, что видение вскоре окончательно

померкнет, я, почти бессознательно, поспешил задать ему вопрос:

«Что за картина?» — Но вместо ответа приятель прошептал только “Irene, da calda [24]” и откинулся, обессиленный, на спинку кресла.

Наступила тишина.

— И что же, — начал отец Бертранд, — ваш приятель-медиум так ничего больше не рассказал о своем видении?

— Я его не спрашивал, потому что, придя в себя, он, похоже, совершенно не помнил, о чем говорил во время транса. Но спустя несколько лет я узнал кое-что, проливающее некоторый свет на этот эпизод, причем узнал совершенно неожиданно. Немного терпения, и я покажу вам, как мне кажется, ту самую картину, что виднелась в глубине ниши!

Подойдя к одному из книжных шкафов, старик извлек оттуда большой том.

— Картина, которую я собираюсь вам показать, представляет собой точную копию одной из фресок в катакомбах святых Петра и Марцеллина: на нее я набрел совершенно неожиданно, когда учился в Риме. После этого фреску воспро-

---

[24] Примечания: 24
Ирена, дай теплой воды *(лат.)*.

извел Ланчани в одной из своих книг[25]. А, вот она. — Сквайр положил альбом на стол. Перед нами, несомненно, была репродукция фрески из катакомб с изображением «агапэ» или «трапезы любви»: группа фигур символизировала одновременно Тайную вечерю и причащение избранных. К тому же времени относились надписи наверху: «IRENE DA CALDA» и «AGAPE MISCE MI» [26], а вот буквы в перечне имен, расположенном по кругу, свидетельствовали о значительно более позднем происхождении. «POMPONIUS FABIANUS, RUFFUS, LETUS, VOLSCUS, FABIUS» и прочие — все члены пресловутой Академии. Там они начертали углем свои имена, там их имена остаются и поныне — зловещим напоминанием о том, какому поруганию подверглись сокровеннейшие глубины христианских катакомб, где в пятнадцатом-шестнадцатом веках неоязычники отправляли культ Сатаны.

Мы посидели молча, глядя на картину, и наконец герр Ауфрехт обратился к доминиканцу:

— Фра Бертранд, вы магистр теологии — что вы обо всем этом скажете?

---

[25] Примечания: 25

См.: Ланчини. Языческий и христианский Рим. Лондон, 1895. С. 357.

[26] Примечания: 26

«Агапэ, смешай мне» *(лат.).*

Святой брат немного поколебался, потом ответил:

— Что ж, герр Ауфрехт, церковь всегда учила, что одержимость дьяволом возможна, но если есть одержимые люди, почему бы не быть и одержимым предметам? Но если вас интересует мое мнение о практической стороне дела, скажу вот что: если уж отец Филип не имеет законного права расстаться со своим фамильным сокровищем, то самым мудрым решением с его стороны будет и впредь держать фонтан под замком.

1914